

ВИРДЖИНИЯ

ВУЛФ

МЕЖДУ АКТОВ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Между актов
Вирджиния Вулф

Аннотация
Вирджиния Вулф. Между актов

Аннотация

Июньским днем 1939 года в поместье семьи Оливер собираются домочадцы и жители деревни, приезжают нежданные гости и начинается спектакль, ради которого все собрались. На любительской сцене разыгрываются эпизоды из истории Англии от Средних веков до начала войны. Но спектакль прерывается длительными паузами, перестановкой декораций и сменой костюмов, борьбой с упрямым граммофоном и ливнем, и тогда уже зрители становятся героями романа: они разговаривают и пьют чай, переживают мелкие ссоры и крупные драмы, ищут себя в мире, который рушится на глазах.

Театральное и реальное, прошлое и настоящее, далекая история и канун новой эпохи переплетаются в лиричном и ироничном романе, ставшем последним актом в творчестве Вирджинии Вулф…

Вирджиния Вулф
Между актов

Рукопись этой книги была завершена, но не окончательно подготовлена к печати, когда умерла Вирджиния Вулф. Я думаю, никаких существенных поправок автор бы в нее не внес, но мог бы внести ряд мелких исправлений.

Леонард Вулф

Virginia Woolf
BETWEEN THE ACTS

© Перевод. Е. Суриц, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

Летним вечером, под шелест сада в открытых окнах, в гостиной обсуждали сточную трубу. Муниципалитет обещал провести сюда воду, и хоть бы кто палец о палец ударил.

Миссис Хейнз, жена помещика, занятого хозяйством, дама с физиономией гусыни и глазками выпученными, будто ей явился домовой, вскричала с чувством:

— Ну и тема для разговора в такой вечер!

Все примолкли, и кашлянула корова, и дала даме повод заметить — как странно, в детстве она коров ну нисколечко не боялась, исключительно лошадей. Да, но ведь когда она была совершенная кроха, громадный ломовик прогрохотал прямо у самой колясочки. Их род, сообщила она старику в кресле, жил близ Лискерда веками. Памятники на кладбище это докажут.

Во тьме хохотнула птица.

— Соловей? — встрепенулась миссис Хейнз. Но нет, соловьи так далеко на север не залетают. Это дневная какая-то птица, вспомнив роскошества дня, червяков, улиток и зернышки, хохотнула во сне.

Старик в кресле — мистер Оливер, из Индийской государственной службы, в отставке, — сказал, что место для сточной трубы выбрано, если

он верно расслышал, на Римской дороге. С аэроплана, он сказал, еще явственно видны шрамы, оставленные бриттами, римлянами, елизаветинской усадьбой, и плугом, которым бороздили холм, чтобы растить пшеницу во время наполеоновских войн.

— Но вы же не можете помнить… — не утерпела миссис Хейнз. О, разумеется. Но зато он помнит — и уже он взялся ей рассказывать, что именно, но послышался шорох за дверью, и Айза, жена его сына, вошла — волосы косами, халат в линялых павлинах. Вошла, как лебедь плывет по воде, вдруг запнулась, остановилась, не ожидала увидеть людей, и что свет горит. С сыночком сидела, она извинилась, что-то он куксится. И о чем тут у них разговор?

— Да вот, сточную трубу обсуждаем, — сказал мистер Оливер.

— Ну и тема для разговора в такой вечер! — вскричала снова миссис Хейнз.

А *он* — что он думает про сточную трубу, и вообще? — гадала Айза, кивая помещику, Руперту Хейнзу. Они виделись как-то на благотворительном базаре, на теннисе. Он подал ей чашку, подал ракетку — и все. Но в этом усталом лице ей чудилась загадка, а в молчании — страстность.

И на теннисе чудилась, и на благотворительном базаре. Теперь, в третий раз, опять почудилась, и, пожалуй, еще настойчивей.

— Да, помню, — старик перебил, — моя мама… — О своей маме он помнил, что она была статная, держала чайницу под замком, но зато в этой самой комнате вручила ему томик Байрона. Да, тому уж больше шестидесяти лет, он им сообщил, мама ему вручила Байрона вот в этой самой комнате. Он помолчал.

— «Она идет в красе своей…»[1] — продекламировал он. И опять: — «Не бродить нам вечер целый под луной вдвоем»[2].

Айза подняла голову. От слов разошлись круги, два безупречных круга, и они подхватили их, ее с Хейнзом, и понесли, как двух лебедей вдоль потока. Но его белоснежная грудь была в грязных разводах ряски, а ее перепончатые лапки вязли, их затягивал муж, биржевой маклер. И она качнулась на своем табурете, и черные косы повисли, и тело стало как валик в этом линялом капоте.

---

[1] Примечания: 1

Первая строка из первого стихотворения цикла «Еврейские мелодии» *Дж. Г. Байрона* (пер. С. Маршака). — *Здесь и далее примечания переводчика.*

[2] Примечания: 2

Стихотворение *Дж. Г. Байрона* (пер. С. Маршака).

Миссис Хейнз учуяла нечто, их замкнувшее кругом, ее выкинувшее вон. Она ждала, как ждут, когда же отзвучит орган, чтобы уйти из церкви, В машине, по дороге домой, на розовую виллу в полях, уж она с этим покончит, как дрозд отклевывает бабочке крылья. Десять секунд переждав, поднялась, постояла, потом — будто замер орган — протянула руку миссис Джайлз Оливер.

Но Айза, хоть ей полагалось вскочить в ту минуту, как поднялась миссис Хейнз, продолжала сидеть. Миссис Хейнз на нее вылупила гусиные глазки:

— Миссис Джайлз Оливер, сделайте такую божескую милость, заметьте мое существование…

И пришлось-таки ей встать с табурета в этом линялом капоте, с болтающимися косами.

Пойнз-Холл в свете раннего летнего утра был дом как дом. До упоминания в путеводителях такой недотягивает. Слишком обыкновенный. Но в этом белесом доме с серой крышей — крылья выброшены под прямым углом, стоит в низине, пониже просади вязов, так что трубный дым цепляется за грачиные гнезда, — жить в этом доме многие бы не отказались. Проезжающие переговаривались: «Интересно, не собираются его продавать?» И — к шоферу: «А кто тут живет?»

Шофер не знал. Оливеры купили именье всего лет сто тому назад и не вошли в родство с Уэрингами, Элвисами, Мэннерингами или Бернетами: старинные семейства, которые, сплошь переженившись между собой, и в смерти лежат сплетясь, как корни плюща, в ограде погоста.

Всего лет сто двадцать с чем-то жили тут Оливеры. И, однако, как поднимешься по главной лестнице — сзади еще черный ход, для прислуги, — там портрет. Уже на полпути тебе в глаза блеснет парча, а как доберешься доверху, увидишь напудренное личико под огромным, жемчугами перевитым париком, в некотором роде основательницу рода. Шесть-семь спален выходят в коридор. Дворецкий был солдат, женился на хозяйкиной горничной; а под стеклом хранятся часы, отбившие некую пулю при Ватерлоо.

Было раннее утро. Трава в росе. С башенных часов упало восемь ударов. Миссис Суизин отдернула занавеску в спальне — белый ситчик, премиленький, когда смотришь из сада, зеленым исподом затенял окно. И, вцепившись старыми руками в раму, чтобы ее поднять, так она и застыла, сестра старика Оливера, вдова. Ей так всегда хотелось иметь свой дом, лучше в Кенсингтоне,

нет, лучше в Кью, чтоб по паркам гулять, но на все лето она застревала тут, а когда зима туманила окна, забивала водостоки палой листвой, она говорила: «И зачем это, Барт, было строить дом в эдакой яме и фасадом на север?» На что брат отвечал: «Чтобы обойти природу, надо думать. Ведь семейную карету через эдакую грязь небось и четверней не протащишь, а?» Потом он ей рассказывал знаменитую историю про великий мороз восемнадцатого века, целый месяц дом был отрезан от мира снегом. И валились деревья. Ну и каждый год, как зима наступит, миссис Суизин ретировалась в Гастингс.

Но сейчас лето. Ее разбудили птицы. Как они поют! Атакуют зарю, как мальчишки-хористы всей ватагой налетают на торт-мороженое. От них никуда ты не денешься, и она взялась за любимое чтение — «Очерки истории»[3] — и от трех часов до пяти воображала леса рододендронов на Пиккадилли, когда континент, не разделенный еще, как она понимала, Ла-Маншем, был единое целое, и населен, как она понимала, слоноподобными, но притом длинношеими, тяжкими, неповоротливыми, лающими страшилищами,

---

[3] Примечания: 3

«Очерки истории цивилизации» (1920) *Герберта Уэллса* (1866–1946).

динозаврами, мастодонтами, мамонтами, от которых, вероятно, она думала, дергая раму вверх, мы и произошли.

Наяву ей понадобилось пять секунд всего, но в воображенье гораздо больше — чтоб отделить Грейс с голубым фарфором на подносе от сопящего чудища, которое, пока отворялась дверь, как раз и норовило обрушить первобытное дерево на дымящийся зеленью подлесок. И, конечно, она вздрогнула, когда Грейс, стукнув подносом, сказала: «С добрым утречком, мэм». «Га-га», — добавила Грейс про себя, встретив этот раздвоенный взгляд, адресованный отчасти чудищу топей, отчасти же горничной в ситцевом платьице с беленьким фартучком.

— Как поют эти птицы! — бросила наобум миссис Суизин. Окно теперь было открыто, птицы еще как пели. Сосредоточенный дрозд скакал через лужок, в клюве у него извивалась розовая резинка. Этот дрозд снова повернул мысли миссис Суизин к реконструкции прошлого, и она умолкла; вообще миссис Суизин была склонна расширять границы мгновенья, убегая в прошлое, в будущее, или вбок, по аллеям и коридорам, но она вспомнила, как мама — вот в этой самой комнате — ей выговаривала: «Ну что ты зеваешь,

Люси, муху сглотнешь...» — как часто мама ей выговаривала вот в этой самой комнате, «Да, но совсем в другой жизни», — не преминул бы напомнить брат. И она села пить утренний чай, как любая старая дама бы села, с орлиным носом, худым лицом, кольцом на пальце и прочими атрибутами бедной, но благородной старости, в ее случае пополняемыми еще и сиянием золотого крестика на груди.

После завтрака няни возят коляски вдоль берега, взад-вперед, возят и разговаривают — они не обмениваются сведениями, не делятся мыслями, они перекатывают слова, как конфетки на языке, и те, истаивая до прозрачности, обнаруживают розовость, зеленость, сладость. Вот и нынче утром: «А повариха-то им насчет спаржи возьми и скажи; она трясет колокольцем, а я: какой костюмчик миленький, и блузочка к нему в самый раз подходит»; они возят колясочки, перекатывают слова, пока разговор со всей неуклонностью не скатится к кавалеру.

Жаль, что строитель Пойнз-Холла сунул дом в эту яму, когда за садом, за огородом — такая чудная полоса высокой земли. Природа поставляет место для дома, а человек возьми и сунь его в яму. Природа поставляет муравчатую террасу,

ровно ведет полмили, пока та вдруг не свалится в пруд, весь в кувшинках. Терраса широкая, тень от самого могучего вяза привольно потягивается поперек. Прогуливайся себе взад-вперед, взад-вперед под тенью могучих вязов. Два-три стоят чуть не обнявшись, другие поодаль, врозь. Корни пробили дерн, и зеленеют меж белых ребер ручьи и прошвы травы, и весной там растут фиалки, а летом лиловеет ятрышник.

Эми что-то говорила про кавалера, но Мейбл, рука на ручке коляски, вдруг обернулась — и сглотнулась конфетка.

— Ну ладно копаться, пошли-ка, что ли, а, Джордж, — кинула грубо.

Мальчик отстал и рылся в траве. Тут младшая, Каро, выпростала кулачок из-под одеяла, и плюшевый мишка вылетел из коляски. И пришлось Эми гнуться. А Джордж рылся в траве. Цветок сверкал из-под корней. Лопались пленка за пленкой. Он уже засиял нежно-желтым, тихий свет в тонкой бархотке, и свет этот залил Джорджу глазницы. И темнота налилась желтым светом, пропахшим землей и травой. А за цветком стоял вяз; вяз, трава и цветок — стали одно. Он копал, сидя на корточках, он выкопал цветок весь, целиком. Но тут — рёв, горячее сопенье, и серая грива,

хлынув, скрыла цветок. Он вскочил, шлепнулся от испуга и увидел, как навстречу вышагивает, размахивая руками, востроклювое, безглазое — ужасное чудище.

— С добрым утром, сэр, — прогудел полый голос из-под бумажного клюва.

Старик на него выскочил из своего укрытия за вязом.

— Скажи-ка, скажи, Джордж, скажи: «Доброе утро вам, дедушка», — понукала Мейбл и толкала его к старику. Но Джордж стоял, разиня рот, Джордж стоял, вытаращив глаза. И мистер Оливер скомкал газету, которую на себя нацепил, и явился в натуральном виде. Очень высокий старик, сверкающие глаза, щеки в морщинах, и голова, голая, как колено. Он повернулся.

— Ко мне! — Рявкнул он. — Ко мне, зверюга ты этакая!

И Джордж повернулся, и няни повернулись, и плюшевый мишка, все повернулись и смотрели на Зораба, афганского пса, который резвился и бесился на травке.

— Ко мне! — Рявкнул старик так, будто полком командовал. Чем весьма впечатлил нянь: старикашка в его-то годах, а как рыкнет, так и эдакого псину застращает. И афганец вернулся,

приниженно, извиняясь. И пока он ластился к ногам своего господина, тот надел на него ошейник, силок, который мистер Оливер всегда носил с собой.

— Зверюга ты этакая… гадкая зверюга, — бормотал старик, наклоняясь. Джордж смотрел только на пса. Вздымаются и опадают волосатые бока, пена у ноздрей. И Джордж разревелся.

Старший Оливер выпрямился — вены вздулись, лицо налилось кровью; он рассердился. Невинная шутка с газетой вышла боком. Мальчишка — плакса. И мистер Оливер, кивнув, уже важно шагал прочь, на ходу разглаживая скомканную газету, и бормотал про себя, отыскивая ускользавшее место в колонке: «Плакса, плакса». А ветер играл газетной страницей, и он из-за края увидел: текучее поле, вереск и лес. В рамку — и вот вам готовый пейзаж. Будь я художник, я бы поставил мольберт здесь, на поле за вязами: готовый пейзаж. Тут ветер стих.

«Мистеру Даладье[4], — читал он, отыскав-таки место в колонке, — удалось удержать франк…»

Миссис Джайлз Оливер провела гребнем по

---

[4] Примечания: 4

Эдуард Даладье (1884–1970) — французский политик, в то время премьер-министр Франции.

спутанной пуще волос, которые, по зрелом размышлении, решила все-таки не стричь — ни за какие коврижки, ни под фокстрот, ни под мальчика, и взялась за щетку с узорной серебряной ручкой, свадебный подарок с дальним прицелом: потрясать гостиничных горничных. Взялась за нее и стояла перед трюмо, разглядывая сразу три версии тяжеловатого, но красивого лица, и еще, за зеркалом — отрезок дороги, лужок и кроны.

Там, в зеркале, в глазах, она разглядела то, что в них посеял вчера усталый, молчаливый, романтический помещик. «Влюбилась», — сказали ей глаза. Но за зеркалом, на умывальнике, на туалетном столике, среди серебряных коробочек и зубных щеток, была любовь другая: любовь к мужу, к биржевому маклеру. «Отцу моих детей», — она прибавила, соскальзывая в клише, с готовностью поставляемое чтивом. Любовь скрытая — в глазах, явная — на туалетном столике. Ну а это какое чувство в ней поднялось, когда над краем зеркала, там, на воле, показалась колясочка, катящаяся через лужок, две няни и сыночек, Джордж, и он плетется сзади?

Постучала в окно узорной щеткой. Они далеко, не услышат. Гул деревьев у них в ушах, птичий гомон, их занимают разные происшествия садо-

вой жизни, которые тут, в спальне, ей не видны, не слышны. Одни на зеленом острове, огороженном подснежниками, оправленном сборчатым шелком, они плывут у нее под окном. И Джордж плетется сзади.

Она вернулась к этим глазам в зеркале. «Влюбилась». Возможно, раз его присутствие вчера вечером так ее задело; раз слова, которые он сказал, когда подавал чашку, когда подавал ракетку, так прицепились к памяти, и протянулись между ними двоими, как проволока, и звенели, дрожали — она выуживала из дебрей зеркала слово, которое бы отражало бесконечно быструю дрожь пропеллера на аэроплане, который она вдруг увидела тогда, на заре, в Кройдоне. Быстрей, быстрей, быстрей он свистел, он шипел, он жужжал, и все взмахи стали одним взмахом, и взмыл, и дальше, прочь, прочь летел аэроплан…

— Убежать бы в край нежданный, мимо рек, лесов и гор… — бубнила она. — Край далекий, безымянный…

Рифма — «в упор». Она положила щетку. Взялась за телефонную трубку.

— Три-четыре-восемь, Пайкомб, — сказала она. — Это миссис Оливер говорит… Какая у вас сегодня рыба? Треска? Палтус? Камбала? Скат?…И

взойти там на костер, — добубнила она. — Палтус. Филе, только чтоб вовремя к обеду, — сказала она трубке. — С пером, с голубым пером… Чтоб в навозе глупый петел отыскал наш нежный пепел.

Стишки вышли так себе, не стоит даже записывать в тетрадь, замаскированную под книгу расходов, чтобы Джайлз не догадался. «Недоделанная» — вот для нее самое слово. Чтоб хоть раз выйти из магазина, скажем, с платьем, которое радует душу; но от собственной фигуры в витрине на фоне темных рулонов брючного сукна тоже радости мало. Талия — сплошное недоразумение, руки-ноги большие, и (вот волосы только) жалкая раба моды — м-м-м, до Сафо далековато, что говорить, и, между прочим, до любого юного красавца, сияющего с журнальной обложки. Куда денешься. Дочь сэра Ричарда она и есть, племянница двух старых теток в Уимблдоне, которые, нося фамилию О'Нил, кичатся своим происхождением от королей Ирландии.

Одна дура-подхалимка как-то, замерев на пороге библиотеки, которую назвала «сердцем дома», тогда же высказалась: «После кухни библиотека — лучшая комната в доме». И, переступив порог, заключила: «Книги — зеркало души».

В данном случае — души потертой и в крапин-

ку. Ведь в такую глушь — поездом тащиться три часа целых, а кто же отважится на столь долгий путь, не запасшись, для утоленья духовной жажды, книжицей в привокзальном киоске. Так что данное зеркало отражало и высокую душу, и душу праздную, скучливую. И никто, оглядев вороха грошовых романчиков, которые понакидали гости, не стал бы утверждать, что это зеркало отражает лишь муки королевы и юную отвагу короля Гарри.

В столь ранний час июньского утра библиотека была пуста. Миссис Джайлз пришлось наведаться на кухню. Мистер Оливер все мерил шагами аллею. Ну а миссис Суизин, конечно, была в церкви. Легкий, переменчивый ветер, который провидели метеорологи, трепля желтую шторку, встряхивал свет, встряхивал тень. Огонь в камине серел, занимался жаром, и крупный махаон бился о нижнюю створку окна, настойчиво, тук-тук-тук, так, будто, если не явится сюда человек, никогда, никогда, никогда, книги истлеют, погаснет камин, и погибнет на стекле махаон.

Возвещаемый броском своей афганской борзой, явился мистер Оливер. Он дочитал газету, был сонный, и плюхнулся в обитое ситцем кресло, с собакой у ног — афганской борзой. Носом в лапы,

втянув бока, пес был — как каменный пес, пес крестоносца, и в царстве мертвых стерегущий покой своего господина. Только господин не был мертв, просто спал, и видел, как в отуманенном зеркале: он сам, молодой, в шлеме, и — каскад. Но безводный, это, серые, клубятся холмы; и в песке — обруч из ребер, бык изъеден червями на зное; и под тенью скалы — дикари, и в руке у него пистолет. И сжалась во сне рука, наяву рука лежала на подлокотнике, жилы вздулись, но теперь всего только бурой жижей.

Дверь отворилась.

— Не помешала? — сказала Айза.

Еще как помешала — разрушила молодость, Индию. Сам виноват, дал ей так сучить нить его жизни, так тростить, тянуть. Но в общем, он был ей даже благодарен, глядя, как она ходит по комнате, за это продолженье.

У многих стариков ведь только Индия осталась — у стариков по клубам, у стариков на Джермин-стрит. А она, в своем платье в полосочку, вот, продолжает его, бормоча перед полками: «Уходи, потемнела равнина, бледный месяц несмело сверкнул…»[5]

---

[5] Примечания: 5

Перси Биши Шелли. Стансы (пер. К. Бальмонта).

— Я рыбу заказала, — заключила она вслух, обернувшись, — хоть насчет свежести не обещаю. Но телятина — дорого, а говядина и баранина всем уже поперек горла… Зораб, — тут она встала перед ними, — ну, как твои делишки?

Он и хвостом не повел. Этот не признавал никаких уз семейственности. Либо ластится, либо кусается. Сейчас вот уставил дикий желтый взгляд в ее взгляд. С таким — в гляделки не садись. Тут мистер Оливер вспомнил:

— Твой мальчишка — рёва, — сказал презрительно.

— Ах, — она вздохнула, оседая на подлокотник, как пленный дирижабль, на мириадах волосяных нитей пригвождаемая к семейственности. — А что такое?

— Я беру газету, — он объяснил, — вот так…

Он взял газету и, скомкав, соорудил из нее клюв.

«Вот так» он выскочил на детей из-за дерева.

— А он разревелся. Он трус, трус твой парень.

Она нахмурилась. Он не трус, ее мальчик. И ей самой противно это семейное, собственническое, материнское. И он же знает, он нарочно дразнится, старый хрыч, ее свекрушка.

Она отвела взгляд.

— «Библиотека — лучшая комната в доме», — процитировала она и побежала глазами по полкам.

«Зеркало души» — вот что такое книги. «Королева фей», «Крым» Кинглейка[6], Китс и «Крейцерова соната». Да, эти — отражают. Но что? Какое лекарство есть для нее, в ее возрасте — тридцать восемь, ровесница века — в этих книгах? Она боится книг, как все его ровесники, и пушек она боится. И все же, как, озверев от зубной боли, в аптеке пробегаешь взглядом по зеленым пузырькам с желтыми сигнатурами в поисках одного, спасительного, так и она прикидывала: Китс или Шелли, Йейтс или Донн. Или, может быть, не стихи, жизнь. Чья-то жизнь. Жизнь Гарибальди. Жизнь лорда Палмерстона[7]. Или вообще не нужно человека, пусть будет графство. «Достопримечательности Дарема», «Отчеты ар-

---

[6] Примечания: 6

«*Королева фей*» — незаконченная поэма *Эдмунда Спенсера* (ок. 1552–1599), *Александр Уильям Кинглейк* (1809–1881) — английский путешественник, историк и писатель, автор обширной истории Крымских войн.

[7] Примечания: 7

Генри Джон Темпл, третий виконт Палмерстон (1784–1865) — английский государственный деятель, дважды был премьер-министром Великобритании, доминировал в британской внешней политике в период с 1830 по 1865 год, когда Великобритания находилась на пике своего имперского могущества.

хеологического общества Ноттингема». Но нет, зачем эта реальность, лучше наука — Дарвин, Эддингтон, Джинс[8].

Зубную боль никто из этих не уймет. Для ее поколения книгой стала газета, и раз свекор бросил газету, она ее подобрала и прочитала: «У лошади зеленый хвост...» — гм, нечто из области фантастики. Но дальше: «Стража в Уайтхолле» — о... уже романтично, глаза побежали по строчкам: «Кавалеристы сказали ей, что у лошади зеленый хвост, но она сочла, что это сама обыкновенная лошадь. И они ее потащили в казарму, где и швырнули на кровать. Затем один из них стал сдирать с нее платье, и она закричала и ударила его по лицу...»

Вот это уже реально, так реально, что вместо двери красного дерева она видела арку Уайтхолла, сквозь арку видела казарму, там кровать, и на кровати орала та девушка и била его по лицу, когда дверь (дверь все-таки) открылась и вошла миссис Суизин, с молотком в руке.

Она продвигалась осторожно, бочком, так, будто пол растекается под стоптанными прю-

[8] Примечания: 8

Артур Стенли Эддингтон (1882–1944) — английский астрофизик. *Джеймс Джинс* (1877–1946) — английский физик-теоретик, астроном, математик.

нелевыми туфлями, и, поджав губы, улыбалась искоса своему брату. Никто не произносил ни слова, пока она следовала к угловому шкафу и водворяла на место молоток, который взяла без спроса, вместе — она разжала кулачок — с пригоршней гвоздей.

— Синди-Синди, — проурчал он, когда она захлопнула дверцу.

Люси, сестра, была на три года его моложе. Синди было такое уменьшительное от Люсинды. Так он в детстве ее звал, когда она топотала за ним, а он удил рыбу и в тугие букеты собирал луговые цветы, тесно-тесно их стягивая потом — раз, раз, и еще — длинной травинкой. Как-то, помнится, он дал ей самой снять рыбу с крючка. А она испугалась крови. «Ой!» — закричала. Жабры были в крови. И он проурчал: «Синди!» Призрак того дальнего лугового утра встал у нее в душе, когда она водворяла молоток в подобавшее ему место на полке, и гвозди в положенное им на другой, и затворяла шкаф, к которому, по-прежнему держа там свою рыболовную снасть, он исключительно трепетно относился.

— Я плакат прибивала к Сараю, — объяснила она, легонько потрепав его по плечу.

Слова упали как первая капля в перезвонном

разливе. В первой капле уже слышишь вторую, во второй слышишь третью. И когда миссис Суизин сказала: «Я плакат прибивала к Сараю», Айза знала уже, что дальше она скажет:

— Для праздника.

А он скажет:

— Сегодня? Бог ты мой! Совсем из ума вон!

— Если будет ясно, — продолжала миссис Суизин, — играть будут под открытым небом…

— А если пойдет дождь, — продолжил Бартоломью, — то в Сарае.

— А вот как будет? — продолжала миссис Суизин. — Ясно или дождь?

И далее, кряду в седьмой раз, оба посмотрели в окно.

Каждое лето, теперь уже седьмое, Айза слышала одни и те же слова: про молоток и гвозди, про погоду и праздник. Каждый год они гадали, будет дождь или ясно, и каждый год бывало — то или сё. Каждый год шел этот перезвон, только на сей раз звякнуло сквозь перезвон: «Девушка закричала и ударила его по лицу молотком».

— В прогнозе, — мистер Оливер долго листал газету, — вот, сказано: «Переменная облачность, ветер умеренный, временами дождь».

Он отложил газету, и все посмотрели в небо,

гадая, послушается ли оно сейсмологов. Да, облачность, конечно, была переменная. Сад зеленый, и вот сразу он серый. Солнце выплыло — и прямо-таки ликованье охватило каждый листик, каждый цветок. Но вот уже оно убегает, печалуясь, прячет лицо, будто не в силах смотреть на людские страданья. В облаках же — ни складу ни ладу, и не понять — почему они вдруг тучнеют, почему вдруг тощают. Свой, что ли, такой закон у них, или никакому закону они неподвластны? Иное — просто седая прядка, и все. Одно, высоко-высоко, затвердело золотистым алебастром, бессмертным мрамором. А дальше — синь, чистая синь, темная синь, никогда она не прольется на нас, ускользает от определений синоптиков. Никогда не упадет на землю тенью, лучом, дождем эта синь, она просто не замечает разноцветного нашего шарика. И лист ее никакой не чует, ни поле и никакой сад.

Глаза у миссис Суизин остекленели, когда она на нее смотрела. Наверно, подумала Айза, глаза у ней застыли, потому что она видит там Бога, Бога на троне. Но тотчас набежала на сад тень, миссис Суизин расслабила и опустила взгляд и сказала:

— Ужасно неустойчивая погода. Как бы дождя не было. Надо только молиться. — И она потере-

била свой крестик.

— И захватить зонтики, — сказал ее брат.

Люси вспыхнула. Он задел ее веру. Она ему — молиться, он ей — про зонтики. Сгребла крестик в ладони. Вся сжалась, съежилась, но в следующую минуту уже кричала:

— Ах! вот и они, мои миленькие!

Колясочка катилась через лужок.

Айза тоже глянула. Ну что за ангел эта старушка! Так встречать детей, так смело восстать против непостижимой сини и против насмешки брата старыми своими руками, смеющимися глазами! Восстать против погоды, против Барта!

— Он дивно выглядит, — сказала миссис Суизин.

— Удивительно, как они поправляются, — сказала Айза.

— Он покушал за завтраком? — спросила миссис Суизин.

— Все умял до последней крошки.

— А маленькая? Сыпи нет?

Айза затрясла головой.

— Подержусь за деревяшку. — И постучала по столу.

— Барт, вот ты мне объясни, — миссис Суизин повернулась к брату. — Откуда это пошло: подер-

жаться за дерево? Антей — ведь он же за землю держался?

Она могла бы быть, он подумал, очень умной женщиной, умей она на чем-то сосредоточиться. А тут — сплошное порхание. В одно ухо входит, в другое выходит. И все застопоривается на одном и том же вопросе, после семидесяти это часто. В ее случае обосноваться в Кенсингтоне? Или в Кью? Но каждый год, как наступит зима, она ни там ни сям не обосновывается. А оседает в меблирашке в Гастингсе.

— Подержаться за дерево, подержаться за дерево, Антей, — он бормотал, стараясь связать концы. Тут пригодился бы Лемприер[9] или энциклопедия. Да, но в каких книгах есть ответ на его вопрос — откуда в черепе у Люси, так похожем на его собственный, взялась эта молитвенность? Не от зубов же, ногтей или волос, он думал, зависит она. Нет, скорей от силы какой-то, от свечения, ведающего дроздом и червем, псом и тюльпаном, ну а заодно им, стариком со вздутыми венами. И ее срывает с постели ни свет ни заря, ее гонит по слякоти поклоняться тому, чьим рупором служит

[9] Примечания: 9

Джон Лемприер (1765–1824) — английский лексикограф, теолог и педагог, автор много раз переиздававшегося справочного издания «Библиотека классики».

Стретфилд. Славный малый, курит сигары в ризнице. Тоже ведь расслабиться надо, когда вечно талдычишь свои проповеди старым астматикам, вечно чинишь вечно обваливающуюся звонницу путем плакатов, прибиваемых к Сараям. Любовь, он думал, надо бы отдавать своим близким, своей плоти и крови, а они отдают ее Церкви… но тут Люси постучала пальцами по столу и сказала:

— Так откуда же пошло… откуда это пошло?

— От суеверия, — он сказал.

Она покраснела, и слышно стало, как она дышит, — опять он оскорбил ее веру. Но когда вы брат с сестрой, плоть и кровь у вас не стеной разделены, одним туманом. И ничто не могло изменить их привязанности: ни доводы, ни факты, ни истина. То, что она видела, он не видел; то, что видел он, не видела она — и так далее, ad infinitum[10].

— Синди, — он проурчал.

И с размолвкой было покончено.

Сарай, к которому Люси пригвоздила свой плакат, был большое строенье на скотном. Был он такой же дряхлый, как церковь, даже сложен из того же камня, только звонницы не хватало. Его

---

[10] Примечания: 10
До бесконечности (*лат.*).

поставили на большие сваи из серого камня, для защиты от крыс и сырости. Те, кто бывал в Греции, всегда говорили, что Сарай напоминает храм. Те, кто в Греции не бывал — большинство, — все равно умилялись. Крыша выцвела до рыжины, а под нею был полый зал, рассеченный лучом, пропахший зерном, темный, когда закрывали дверь, но навылет простреленный светом, когда дверь оставляли открытой, и телеги, длинные, низкие, как корабли в море, рассекая зерно, не волны, вечером возвращались в вихрях соломы. И рой соломин метил их путь к Сараю.

Теперь поперек Сарая поставили скамьи. Если польет дождь, артисты будут играть в Сарае: в одном конце соорудили из досок сцену. Дождь ли, ясно, публика все равно здесь будет пить чай. Молодые люди и девушки — Джим, Айрис, Дэвид, Джессика — уже развешивали гирлянды из белых и алых бумажных роз, оставшихся с коронации. От мякины и пыли они расчихались. Айрис повязала на лоб носовой платок, Джессика надела брючки. Парни были в рубашках. В волосах застревала солома, и ничего не стоило занозить палец.

Старый Пушок (прозвище миссис Суизин) прибивал к Сараю новый плакат. Прежний — ветром

сдуло, или это местный идиот, он вечно сдирал все, что ни прибьют, содрал его и хихикал теперь над плакатом где-то в тени плетня. Работники тоже смеялись: старая Суизин, куда ни пойдет, оставляла по себе раскат смеха. При виде старушки под седеньким веющим пухом, в туфлях, до того шишковатых, в них не ноги засунуты, а канарейкины лапки, в перекрученных, сползших черных чулках, Дэвид, уж конечно, сделал большие глаза, а Джессика подмигнула ему в ответ, подавая гирлянду. Снобы, что поделать, долго проторчали в одном углу, и местный обычай на них оттиснулся трехсотлетним невыводимым тавром. Вот они и смеялись, но ее уважали. Уж если миссис Суизин жемчуг наденет, так это жемчуг, будьте уверены.

— Наш Пушок все летает, — сказал Дэвид. Сто раз она будет носиться туда-сюда, но в конце концов принесет им большой кувшин лимонада и бутерброды на блюде. Джесси держала гирлянду, он стучал молотком. В Сарай занесло курицу, потом мимо двери прошли чередой коровы, потом собака, потом пастух, Бонд — этот остановился.

Посмотрел, как молодежь розы развешивает по стропилам. Плевать ему было на всех, на простых и на благородных. Молча, неодобрительно

прислонясь к косяку, он стоял, как плакучая ива стоит, склонясь над ручьем, разронявши все свои листья, и шаловливый бег воды играл у него в глазах.

— И-и-кха! — гаркнул вдруг. Это был, надо думать, коровий язык, потому что буренка, сунувшая в Сарай голову, тотчас опустила рога, хлестанула хвостом и степенно двинулась прочь. Бонд пошел следом.

— Вот в чем вопрос, — сказала миссис Суизин. Пока мистер Оливер мучил энциклопедию, под «суеверием» ища разгадку выражения «подержаться за деревяшку», они с Айзой обсуждали рыбу: будет ли она свежая, преодолев такой путь.

Они же так далеко от моря. Миль сто, сказала миссис Суизин, нет, даже сто пятьдесят, наверно.

— Но говорят, — она продолжала, — в тихую ночь можно услышать море. После шторма, говорят, слышно, как разбиваются волны… какой прелестный рассказ, — она затуманилась. — «Услышав за полночь грохот волн, он оседлал коня и поскакал к морю». Кто это, Барт, кто это поскакал к морю?

Он уже углубился в чтение.

— Тут тебе их не принесут в ведре к самому по-

рогу, — говорила миссис Суизин, — как, помню, в детстве, когда мы жили в таком домике прямо у моря. Омары, свежие, только что из садка. Как они в прутик вцеплялись, когда им кухарка протянет! А лосось! Можно сразу определить, что они свежие, потому что тогда у них вши на чешуйках.

Бартоломью кивнул. Совершенно верно. Он помнил тот домик у самого моря. И того омара.

С моря несли полные сети рыбы, но Айза видела — сад, переменный, как и предсказывали синоптики, на легком ветру. Снова прошли мимо дети, она постучала по стеклу, послала им воздушный поцелуй. Никто его не заметил в гуле, звоне и шелесте сада.

— Нет, правда, — она обернулась, — неужели отсюда сто миль до моря?

— Тридцать пять всего-навсего, — сказал ее свекор, будто, щелкнув извлеченной из кармана рулеткой, произвел самый точный замер.

— А кажется — больше, — сказала Айза, — как посмотришь с аллеи — земля и земля, без конца и края.

— А раньше вообще моря не было, — сказала миссис Суизин. — Никакой воды между нами и континентом. Утром в книге вычитала. На

Стрэнде были рододендроны, и мамонты на Пикадилли.

— И мы были дикарями, — сказала Айза.

Потом она вспомнила, ей дантист рассказывал, что дикари умели делать сложные операции на мозге. У дикарей были вставные зубы. Вставные зубы изобрели — так он сказал, кажется, — во времена фараонов.

— Так мне, по крайней мере, сказал мой дантист, — заключила она.

— А ты к кому теперь ходишь? — спросила миссис Суизин.

— К той же старой парочке, Бэтти и Байте на Слоун-стрит.

— И это мистер Бэтти тебе сказал, что вставные зубы были во времена фараонов? — удивилась миссис Суизин.

— Бэтти? Нет, почему Бэтти. Это Бэйтс, — поправила Айза.

Бэтти, она вспоминала, исключительно говорил о королевской семье. Бэтти, она сообщила миссис Суизин, пользовал ее королевское высочество.

— И по часу заставлял меня дожидаться. А в детстве, сами знаете, это кажется вечностью.

— Браки между близкими родственниками, —

сказала миссис Суизин, — вредны для зубов.

Барт запустил в рот палец и выдвинул вперед весь верхний ряд. Зубы были вставные. И, однако, он сказал, у Оливеров не было браков между близкими родственниками. Оливеры не могут проследить свою родословную дальше чем на две-три сотни лет. А вот Суизины могут. Суизины еще до Нормандского завоевания были.

— Суизины… — начала миссис Суизин. Но осеклась. Барт отмочит новую шуточку, насчет святых[11], так нет же, такого удовольствия она ему доставлять не намерена. Две свои шуточки он уже отмочил: про зонтики — раз, и насчет суеверий.

И потому она вовремя осеклась и сказала:

— Да, так с чего у нас зашел разговор?.. — Она загибала пальцы. — Фараоны. Дантисты. Рыба… Ах да, Айза, ты говорила, что заказала рыбу и сомневаешься, будет ли она свежая. А я сказала: «Вот в чем вопрос…»

Рыба была доставлена. Посыльный от Митчелов, держа корзину на сгибе локтя, спрыгнул с мотоцикла. Нет, какое там угощать пони сахаром,

---

[11] Примечания: 11

Святой Суизин (800–862). У англичан есть примета: если в его день, 15 июля, погода ясная, значит, будет ясно все последующие сорок дней.

буквально слово сказать некогда, куча заказов. Надо на гору, к Бикли, потом делать крюк и — к Уэйторнам, Роддамам, Пэйминстерам, все имена, как и его собственное, занесены в кадастровую книгу. А вот кухарка — миссис Сэндс ее звали, но для старых друзей просто Трикси — в свои пятьдесят на горе никогда не бывала, и не больно хотелось.

Плюхнул на кухонный стол палтусов — филе, полупрозрачных, бескостных. Миссис Сэндс еще даже с них бумагу не посчищала, а мальчишки и след простыл, зато успел-таки шлепнуть по заду благородного рыжего кота, который, величаво восстав из своей корзины, шествовал к столу, учуяв рыбку.

Не попахивают ли чуть-чуть? Миссис Сэндс их подносила к носу. Уж как терся кот о ножку стола, о ее ногу. Ничего, она уделит кусочек Сынку — будучи Сэн-Дзеном в гостиной, на кухне он преобразовывался в Сынка. Под присмотром кота палтусы были отнесены в кладовку, уложены на поддон в этом отчасти святилище. Ибо при доме, как у всех по соседству, раньше, до Реформации, была часовня; и часовня сделалась кладовкой, претерпев изменения, как имя кота изменилось, как изменилась вера. Мастер (это он в гостиной

был Мастер, а на кухне-то Барти) приведет, бывало, господ в кладовую — а миссис Сэндс там стоит, не одета. И не на окорока посмотреть, главное, водит, как свисают с крюков, или на круги масла, или для завтрашнего обеда баранину, а на погреб, куда ход из кладовки, и резная там арка. Постучишь — у одного господина был молоточек — и звук такой странный, раскатный, нет сомнения, говорит, там тайный ход и когда-то прятался кто-то. И свободно могло быть. Но, по миссис Сэндс, лучше бы не ходили они на кухню, не рассказывали бы эти сказки при девушках. Разная чушь потом лезет в глупые головы. Уже они слышали, как покойники бочки двигают. Уже видели, как бледная леди под деревьями разгуливает. Как стемнеет, ни одна на аллею ни-ни. Кот, Сынок, чихнет, а они: «Привидение!»

Сынок получил свой кусочек филе. Затем миссис Сэндс взяла яйцо из темной корзины, где лежали яйца, некоторые с рыжим пушком на скорлупе, потом зачерпнула муки — обвалять прозрачные ломтики, потом сухарной крошки из большой глиняной миски. И потом вернулась на кухню и принялась орудовать у печи, чем-то гремя, шипя, что-то скребя и плюхая, по всему дому рассылая особенное эхо, так что в библиотеке, в

гостиной, в столовой, в детской, кто бы там что ни делал, ни говорил, ни думал, все знали, каждый знал, что скоро будет завтрак, обед или ужин.

— Сэндвичи… — сказала миссис Суизин, входя на кухню. Она не добавила к сэндвичам «Сэндс», это бы вышло бестактно. «Нельзя никогда обыгрывать, — мама учила, — чужие фамилии». Но Трикси — это имя же совсем не подходит, как Сэндс подходит к этой тощей, кислой, рыжей, колючей чистюле, которая пока еще ни разу шедевра не создала, что правда, то правда, зато уж и шпильку в суп не уронит. «Что за черт?» — рыкнул Барт, выуживая шпильку из супа, в старые времена, пятнадцать лет назад, до эры Сэндс, в эпоху Джессики Пук.

Миссис Сэндс принесла хлеб, миссис Суизин принесла бекон. Одна нарезала хлеб, другая — бекон. Кухаркины руки строгали — раз-раз-раз. Тогда как Люси, обнимая каравай, держала нож лезвием вверх. Почему черствый хлеб, она рассуждала, режется легче, чем свежий? И вбок скользнула: закваска — алкоголь, брожение, опьянение, Бахус, и уже под пурпурными лампионами в италийском вертограде лежала, где леживала, бывало, а миссис Сэндс меж тем слушала, как часы тикают, как муха жужжит, за

котом присматривала, и досадовала, по губам было видно, а вслух ведь не выскажешь, что на кухне морока лишняя от этой блажи — гирлянды в Сарае развешивать.

— Погода не подведет? — спросила миссис Суизин, с ножом наперевес. Они на кухне приноровились уже к старухиной придури.

— На то похоже, — ответила миссис Сэндс, остро глянув в кухонное окно.

— В прошлом году подвела, — сказала миссис Суизин. — Помните, что творилось, — вдруг хлынуло и мы заносили стулья? — Она опять стала резать. Потом спросила про Билли, племянника миссис Сэндс, проходившего ученье у мясника.

— Ведет, как не положено малому, — сказала миссис Сэндс, — грубиянит хозяину.

— Ничего, все будет в порядке, — сказала миссис Суизин, имея в виду племянника, имея в виду сэндвич, который просто чудо как хорошо вышел, треугольненький, аккуратный.

— Мистер Джайлз, возможно, опоздает, — прибавила она и, довольная, положила свой сэндвич на блюдо.

Потому что муж Айзы, биржевой маклер, ехал из Лондона. А местный поезд, который подают к лондонскому, ходит шаляй-валяй, и даже если

мистер Джайлз успеет в Лондоне на более ранний поезд, все равно ничего тут не рассчитаешь. А в таком случае… но каково в таком случае придется миссис Сэндс — люди опаздывают на поезда, а ей все дела побросай и толкись у плиты, чтобы еда была с пылу с жару — это только она сама знает.

— Ну вот! — сказала миссис Суизин, озирая сэндвичи, одни удачные, другие не очень. Ладно, несу их в Сарай.

А насчет лимонада — она знала без тени сомнения, что Джейн, кухонная девушка, его следом понесет.

Кэндиш задержался в столовой, чтоб поправить желтую розу. Желтые, белые, пунцовые — так он их расставил. Он любил цветы, любил их расставить, всадить острый зеленый листик, листик сердечком, чтобы ловко пришелся меж ними. Странно, как он любил цветы, притом, что картежник и пьяница. Вот все и готово — белизна, серебро, вилки, салфетки, и посредине ваза с разноцветными брызгами роз. И, все окинув последним взором, он удалился.

Две картины висели рядком напротив окна. В жизни они никогда не встречались — эта длинная дама и господин, держащий коня под уздцы. Дама была картина, даму Оливер купил, потому

что ему приглянулась картина, господин же был предок. У него было имя. Он держал коня под уздцы. Он говорил художнику: «Если желаете снять с меня подобие, сударь, черт с вами, малюйте, когда распустятся на деревьях листочки». Распустились на деревьях листочки. Тогда он сказал: «Для Колина-то сыщется местечко, с Бастером вместе?» Колин был его знаменитый пес. Но место нашлось только для Бастера. Вот досада, он, кажется, говорил, но уже не художнику, что рядом не поместился Колин, которого он собирался похоронить у себя в ногах, в своем склепе, в году примерно 1750-м, да только этот стервец преподобный, как бишь его, согласия не дал.

Он был вечная тема для разговоров, предок. А дама была картина. В желтой робе, томно склонясь к колонне, с серебряной стрелою в руке, с пером в волосах, она поводила взглядом вверх, вниз, к прямизне от изгиба, сквозь зеленые прошвы и тень серебра, сквозь сумрак и розовость, к тишине. В столовой было пусто.

Пусто, пусто, пусто, тихо, тихо, тихо. Комната стала раковиной и пела о том, что было в довременье, и в самом центре дома стояла ваза, алебастровая, прохладная, гладкая, в себя вобравшая самую суть пустоты, тишины.

По ту сторону коридора открылась дверь. Один голос, другой, третий выплеснулись в коридор: хриплый — голос Барта, дряблый — Люси, и матовый голос Айзы. Голоса, налетая друг на друга, сталкиваясь, сшибаясь, долетали из коридора, обранивая клочья фраз: «…поезд опоздает», «не остыло бы», «мы не будем, нет, Кэндиш, мы не будем ждать».

Вылившись из библиотеки, голоса в коридоре запнулись. Наткнулись, видимо, на препятствие, на скалу. Неужели никак не возможно даже здесь, вдалеке от всего, побыть одним? Это была скала. В нее уперлись, потом ее обогнули. Досадно, да, но что поделать. Гости так гости. Да, немого досадно, но даже приятно было, выйдя из библиотеки, наткнуться на миссис Манрезу и незнакомого молодого человека — волосы цвета пакли, вытянутое лицо. Бежать было некуда, встреча была неизбежна. Их не ждали, не приглашали, да, но их сманил с шоссе тот же инстинкт, что сбивает в стадо овец и коров, и они пришли. Но у них с собою корзина еды. Вот.

— Просто не могли устоять, как увидели на указателе вашу фамилию, — распиналась миссис Манреза. — А это мой приятель, Уильям Додж. Собрались в одиночестве посидеть, в чистом по-

ле. Ну и я говорю: почему бы нам не попросить у друзей дорогих — когда указатель увидела, — не попросить ли убежища? Место за столом — больше нам ничего не надо. Жратва у нас есть. И стаканы. Нам надо только… — общества, очевидно, слиться с себе подобными.

И она помахала рукой, на которой была перчатка, но под перчаткой перстни угадывались, помахала старому мистеру Оливеру.

Он низко склонился к ее руке, столетье назад он бы руку поцеловал. К потоку приветствий, протестов, извинений и снова приветствий подмешалась струйка молчанья, которую, разглядывая молодого человека, подбавила Айза. Конечно, он хорошего круга, по носкам и брюкам видно, интеллигентный — галстук в крапинку, расстегнутая жилетка, городской, кабинетный — такой нездоровый, глинистый цвет лица, страшно нервный, так задергался, когда его вдруг представили, и адски, кошмарно суетный — презирает щебет миссис Манрезы, а сам же с нею прикатил.

Айзу все это не очень грело, но — ей было любопытно. Миссис Манреза прибавила для порядка: «Он художник», Уильям Додж поправил: «Канцелярская крыса» — и что-то он промямлил насчет

образования, не то про налоги, и она нащупала узел, так туго стянутый, что чуть не перекосилось и уж точно дергалось его лицо.

И они пошли к столу, и миссис Манреза буквально лопалась от восторга, что так ловко, палец о палец не ударив, сумела преодолеть небольшой общественный кризис — и вот вам, пожалуйста, — два лишних прибора на столе. Недаром она доверялась человеческой природе, верно? Все ведь мы из плоти и крови? И зачем огород городить, если все мы из плоти и крови под нашей кожей — мужчины и женщины! Но она предпочитала мужчин — это очень было заметно.

— А зачем тогда тебе эти перстни и эти ногти, эта просто обворожительная соломенная шляпка? — спрашивала Айза, молча адресуясь к миссис Манрезе, своим молчаньем внося, таким образом, существенный вклад в беседу. Шляпка, перстни, ногти, как розы пунцовые, гладкие, как ракушки, были выставлены на обозрение. Но не ее жизнь. Тут только ошметки достались им всем — за исключением, видимо, Уильяма Доджа, которого она называла Биллом на публике, — знак, наверно, того, что он знал побольше их всех. Коечто из того, что он знал, — она бродит ночами в шелковой пижаме по саду, у нее громкогово-

ритель, она слушает джаз, есть бар, — они тоже знали, конечно. Но ничего интимного, никаких прямых биографических фактов.

Она родилась, но это только сплетни, в Тасмании, ее дед был вывезен за какой-то викторианский скандал, неблаговидное что-то, присвоение казенных средств, что ли? Но повесть, в тот единственный раз, когда ее слышала Айза, не двинулась дальше этого «вывезен», ибо муж общительной дамы — миссис Бленкоу, на мызе, — придрался к неточности и сказал, что скорей он был «выслан», но и это не то, слово вертится на языке, никак не поймать. И рассказ сразу как-то увял. Иногда она ссылалась на какого-то своего дядю, епископа. Но он, кажется, только в колониях считался епископом. Очень уж легко все прощают и забывают в этих колониях. Еще говорили, что ее алмазы-рубины собственными руками выкопал из-под земли ее «муж», но только не Ралф Манреза. Ралф, еврей, стал выглядеть типичнейшим сельским аристократом, когда ведущие городские компании — это точно — его буквально озолотили, и у них нет детей.

Но когда на троне Георг VI[12], как-то немодно, пошло, траченными молью мехами попахивает это занятие, и камеями, бисером, писчей бумагой с черным обрезом, — так вот рыться в чужом грязном белье, да?

— Все, что мне нужно, — и миссис Манреза состроила глазки Кэндишу, будто он настоящий мужчина, не чучело, — так это штопор.

У нее бутылка шампанского, а штопора нет.

— Видишь, Билл, — она сказала, вывернув большой палец — открывала бутылку, — эти портреты, а? Говорила я тебе, что получишь удовольствие?

Вульгарная, да, эти жесты, и вообще, явная брючница, и — так разрядиться для пикника! Но какое нужное, ценное, во всяком случае, свойство — ведь каждый, едва она рот откроет, сразу чувствует: «Вот, она сказала, а я — нет, и почему не я» — и, воспользовавшись брешью в декоруме, в которую хлынула свежесть, уже веселым дельфином кувыркается у ледокола в кильватере. И она же восстановила для старого Бартоломью те

---

[12] Примечания: 12

Георг VI (1895–1952) — король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и доминионов Британского содружества с 11 декабря 1936 года и до своей смерти 6 февраля 1952 года. Известен прежде всего как символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне.

пряные острова, его юность, не так ли?

— Я ему говорила, — теперь она уже Барту строила глазки, — что он и смотреть не захочет на наши вещи… — Которых у них буквально пруд пруди. — …после ваших. И я ему пообещала, что вы ему покажете эту… эту… — Тут вскипело шампанское, и она настояла, чтоб Барт себе первому наполнил бокал. — Ну, по чему еще вы, образованные господа, с ума-то сходите? Ну, арку? Нормандскую? Саксонскую? Кто тут у нас недавно из школы? Миссис Джайлз?

Теперь она глазки строила Изабелле, одаряя ее юностью, но, когда с женщинами разговаривала, она застилала взгляд, чтоб эти, участницы сговора, там чего лишнего не прочитали.

Так, гол за голом — шампанское, глазки — она выигрывала, утверждалась: дитя природы, вихрем ворвавшееся в эту… — она усмехалась тайком — тихую заводь; после Лондона просто комическую, но кое в чем и получше Лондона. И она предлагала им образцы своей жизни на пробу, немножечко сплетен, чушь сплошную, но она ни на что другое и не замахивалась, как в прошлый вторник сидела с таким-то, с таким-то, и после фамилии вдруг всплывало имя, вот уже вспархивало уменьшительное, и он сказал — кто

я такая? мне все можно выложить! — и «по строгому секрету, мне бы не надо болтать» она все им выбалтывала. И они навостряли уши. Потом — легким жестом руки, будто швырнув за борт эту дурацкую, гадкую лондонскую жизнь, — бах! — она вскрикнула: «Вот! И что я перво-наперво делаю, когда сюда приезжаю?» Они выехали вчера вечером, катили по июньским лугам, с Биллом, само собой, парочкой, бросив Лондон, который вдруг просто осточертел, чтоб просто посидеть-пообедать. «Ну и что я делаю? Можно я скажу, да? Вы разрешаете, миссис Суизин? Ах, в этом доме все можно сказать. Я рассупониваюсь… — Уперла руки в боки — статная дама. — …и катаюсь по траве. Катаюсь! Вы не поверите…» И она от души расхохоталась. Наплевала на фигуру и почувствовала себя свободной!

Да, это правда, это без дураков, думала Айза. Конечно, правда. И эта ее любовь к природе. Часто, когда Ралфа Манрезу не пускали дела, она одна сюда мчала, в потрепанной шляпе, учила деревенских женщин не мариновать и закатывать, нет, но как плести из цветной соломки миленькие такие корзиночки, им тоже надо от жизни получать удовольствие, она объяснила. Она сама, например, как ни пройдете мимо, услышите

— напевает среди георгин: «Тра-ля-ля-ля!»

Нет, просто отличная тетка. Барт при ней даже помолодел. Поднимая бокал, уголком глаза он заметил белый промельк в саду. Кто-то прошел под окнами.

Судомойка, пока посуду не вынесли, остужала щеки у пруда с кувшинками.

Тут всегда были кувшинки, ветром посеянные, и плавали, красные, белые, на зеленых лиственных блюдцах. Вода за столетья осела в своей лохани и лежала теперь слоем в четыре-пять метров на илистой черной подушке. Под зеленой плитой ряски, застекленные в собственном царстве, плыли рыбы — золотые, в белую крапинку, черно-полосатые, серебряные. Молча проплывут по своему водному царству, замрут на синем отражении неба или бесшумно метнутся к краю, где дрожит трава и ложится на воду мохнатой кивающей тенью. Там, на водной панели, оставляют тоненькие следы пауки. Семечко упадет и уходит спиралью вниз, упадет навстречу своему отражению лепесток, сольется с ним, взбухнет, тонет. И тогда флотилия этих живых корабликов замрет, зависнет, во всем снаряженье, в броне, и скроется с волнистым взблеском.

Вот там, в самой середке, утопилась та леди.

Десять лет назад осушали пруд и нашли берцовую кость. Правда, кость, к сожаленью, оказалась овцы, не леди. А не бывает у овец привидений, потому что нету душ у овец. Но, не сдавались слуги, ходит привидение, ходит; а привидение — чье ж, как не леди, которая утопилась от несчастной любви. И кто ж после этого пойдет ночью к пруду с кувшинками; нет, только сейчас, когда солнце светит и господа еще не встали из-за стола.

Утонул лепесток, судомойка побежала на кухню, Бартоломью отхлебнул свое вино. Он был счастлив, как мальчик, безответствен, как старик — странное, дивное ощущение. Пошарив в памяти, что бы такое сказать этой очаровательной даме, он брякнул первое, что пришло на ум, изложил историю про овечью берцовую кость. «Слугам, — он сказал, — нужны привидения». Судомойкам нужны леди, утопившиеся от несчастной любви.

— Ах, и мне, и мне! — крикнула миссис Манреза, дитя природы. Ни с того ни с сего стала важная, как сова. Да, когда Ралф был на войне, она знала, знала, — она говорила, для пущей убедительности отщипывая от хлеба кусочек, — что он не погиб, не то бы он ей явился, «где бы я ни была, чем бы ни занималась», — и она взмахнула

руками, расплескивая с пальцев бриллиантовый блеск.

— Я этого не понимаю, — сказала миссис Суизин, покачав головой.

— Ну конечно, — миссис Манреза залилась смехом. — И никто из вас не поймет. Видите ли, я на уровне… — она выждала, пока ретируется Кэндиш, — ваших слуг. Я не такая взрослая, как вы все.

И нахохлилась, гордясь своей подростковостью. Придуривалась? Или нет? Струйка чувства в ней пробивалась сквозь ил. У них он выложен плитами мрамора. Для них овечья кость — это овечья кость, не останки бедной благородной утопленницы.

— Ну а вы к какому лагерю принадлежите? — Бартоломью повернулся к неизвестному юнцу. — Взрослых или не взрослых?

Изабелла открыла рот, в надежде, что он раскроет свой, дав ей шанс составить о нем впечатление. Но он только глаза таращил.

— Прошу прощенья, сэр? — произнес-таки наконец. Все на него уставились. — Я вот на портреты смотрел.

Портрет ни на кого не смотрел. Портрет их вел в тишину, по тропам молчания.

Миссис Суизин его нарушила.

— Миссис Манреза, хочу попросить вас об одном одолжении. Если вечером будет крайняя надобность, вы споете?

Вечером? Миссис Манреза пришла в ужас. Праздник! Она понятия не имела, что это сегодня! Неужели же они бы сюда сунулись, знай они, что это сегодня! И разумеется, опять начался перезвон. Айза слышала первый колокол, и второй, и третий — если дождь, будем в Сарае, если ясно — на воле. Но что будет, дождь или ясно? И все посмотрели в окно. И тут дверь отворилась. И Кэндиш возвестил, что мистер Джайлз приехали. Мистер Джайлз сию минуту сойдут к столу.

Джайлз приехал. Увидел у входа большой серебристый автомобиль с вензелем «Р.М.», так выкрученным, что издали сходил за корону. Гости, он заключил, припарковываясь сзади, и поднялся к себе переодеться. Призрак условностей вынырнул из глубин, как под давлением чувства выступают слезы или румянец, так этот автомобиль надавил на какую-то клавишу. Надо переодеться. И в столовую он вошел, одевшись, как на крикет — белые штаны, синий пиджак с медными пуговицами, хотя сам же бесился. Разве еще сегодня, в поезде, он не прочитал в газете,

что шестнадцать человек убиты, остальные захвачены в плен прямо там, за бухтой, на плоской земле, их отделяющей от континента? И вот вам, пожалуйста, — переоделся. А все из-за тети Люси — увидела его, ручкой машет — из-за нее он переоделся. Он на нее повесил свою досаду, как вешают пальто на крюк, бездумно, привычно. Тете Люси — ей-то что, дуре, вечно, с тех пор как после колледжа он выбрал свою лямку, она высказывает недоумение по поводу некоторых, жизнь кладущих на то, чтоб покупать-продавать — плуги? или это бисер? или акции? — дикарям, которым надо зачем-то — будто они и голые не хороши? — одеваться и жить, как живут англичане. Легкомысленный, злой даже, взгляд на проблему, которая — у него же ни талантов особых не было, ни капитала, и он без памяти влюбился в свою жену — он ей кивнул через стол — терзает его уже десять лет. Будь у него выбор — тоже небось занялся бы сельским хозяйством. Но не было выбора. И так — одно цепляется за другое, все вместе на тебя давит, плющит, держит, как рыбу в воде. И он приехал на выходные и переоделся к обеду.

— Добрый день, — сказал он всем за столом, и кивнул незнакомому гостю, настроился против него и занялся своим палтусом.

Он был совершенно, ну совершенно во вкусе миссис Манрезы. Волосы вьются, подбородок не скошенный, как с подбородками часто, нет, абсолютно твердый, нос прямой, пусть чуточку и коротковат, глаза, при таких волосах, конечно же, голубые, и, наконец, для полноты картины, что-то такое дикое, неукротимое было у него во взгляде, что миссис Манреза даже в свои сорок пять подготовила старые орудия к бою.

«Мой муж, — Изабелла думала, пока они друг другу кивали через пестрый букет, — отец моих детей». И — сработало, испытанное клише: гордость — прихлынула к сердцу, нежность, и снова гордость — за себя, которую он избрал. И как это странно, после утреннего стоянья у зеркала, после стрелы Амура, которой запустил в нее вчера вечером этот помещик, — и вдруг теперь ощутить, когда он вошел не хлыщом городским, спортсменом, — такое сильное чувство любви и ненависти.

Они познакомились в Шотландии: рыбу удили — она с одной скалы, он с другой. У нее запуталась леска, она плюнула на все это предприятие и стала смотреть, как он, во вспененной воде по колено, целился, целился, целился — пока, серебряным слитком, изогнутым посредине,

подпрыгнула семга, попалась, и — Айза полюбила его.

Бартоломью тоже его любил, и заметил, что он сердится — из-за чего? Но помнил — у них гости. Семья — не семья при чужих. Надо пообстоятельней им рассказать про портреты, которые незнакомый молодой человек рассматривал, когда вошел Джайлз.

— Это, — он показал на мужчину с конем, — мой предок. У него был пес. Знаменитый пес. Оставил свой след в истории. И хозяин распорядился в письменном виде, чтобы пса этого похоронили с ним вместе.

Все разглядывали портрет.

— Я так и слышу, — Люси прервала молчанье, — как он говорит: нарисуйте мою собаку.

— Ну а лошадь, насчет лошади что? — спросила миссис Манреза.

— Лошадь, — Бартоломью нацепил очки. Оглядел Бастера. Задние ноги явно подкачали.

А Уильям Додж все смотрел и смотрел на даму.

— А-а, — сказал Бартоломью, который купил эту картину, потому что картина ему понравилась, — да вы, батенька, художник.

И снова Додж отпирался, за полчаса второй раз, отметила Айза.

Зачем роскошной бабе, как эта Манреза, таскать за собой этого недоноска? — спрашивал себя Джайлз. И молчаньем внес свой вклад в разговор — то есть Додж тряхнул головой:

— Мне нравится этот портрет.

Больше ничего он не мог из себя выдавить.

— И вы совершенно правы, — сказал Бартоломью. — Один человек — ах, ну как его? — связанный с каким-то там учреждением, ну, который советы дает бесплатно потомкам, как мы, вырождающимся потомкам, так он сказал… сказал… — и Бартоломью умолк. Все смотрели на даму. А она смотрела куда-то мимо них, ни на что не смотрела. И по зеленым просекам их вела в самую глушь тишины.

— Кажется, это сэр Джошуа?[13] — Миссис Манреза резко сломала молчанье.

— Нет-нет, — Додж сказал быстро, но шепотом.

И чего он боится? — спрашивала себя Айза. Бедняга. Стесняется собственных вкусов — а сама она мужа не боится? Не записывает стихи в тетрадь, замаскированную под книгу расходов,

---

[13] Примечания: 13

Сэр Джошуа Рейнольдс (1723–1792) — английский живописец и теоретик искусства, один из ведущих британских художников XVIII века, основатель и первый президент Королевской академии искусств, член Лондонского королевского общества.

чтоб Джайлз не догадался? Она посмотрела на Джайлза.

Он разделался с палтусом: ел быстро, чтоб остальных не задерживать. Подали вишневый пирог. Миссис Манреза считала косточки.

— Куколка, балетница, воображала, сплетница, куколка, балетница, воображала… это я! — крикнула она, страшно довольная, что вишневый пирог дал ей возможность продемонстрировать, какое она истинное дитя природы.

— Вы и в это, — старик галантно ее поддел, — тоже верите?

— Ах, ну как же, ну конечно, я верю! — Она снова чувствовала себя как рыба в воде. Отличная тетка. И всем стало хорошо; и можно, резвясь у нее в кильватере, оставлять серебристые, темные тени, уводящие в самую глушь тишины.

— Мой покойный отец, — зашептал Додж Айзе, которая села рядом, — любил живопись.

— Ой, а у меня! — выпалила Айза. Быстро, сбивчиво она пояснила. В детстве, когда болела коклюшем, ее оставляли у дяди, он был духовная особа: ходил в скуфье, и ничего абсолютно не делал, даже проповеди не читал, но сочинял стихи, бродил по саду и вслух их выкрикивал.

— Все его сумасшедшим считали, — она сказа-

ла, — а я… — И осеклась.

— Балетница, воображала, сплетница, куколка… Выходит, — сказал старый Бартоломью и положил ложку, — выходит, что я куколка. Кофе в саду будем пить? — и он встал.

Айза волокла свой шезлонг по гравию и бубнила: «В какие дебри шелкового дня, в какую чащу, всхлестнутую ветром — нам суждено бежать? Или качаться от звезды к звезде, плясать в тумане лунном? Или…»

Она несла шезлонг под неправильным углом. И вывихнулась рама.

— Песни моего любимого дядюшки? — Уильям Додж услышал ее бормотанье. Он отобрал у нее шезлонг и вправил ему сустав.

Она покраснела, будто напевала в пустой комнате, и кто-то вышел вдруг из-за шторы.

— А вы, когда что-то руками делаете, не бубните разную чушь? — выговорила кое-как. Но что он своими руками будет делать, такими белыми, утонченными?

Джайлз пошел в дом, принес еще стулья и поставил полукругом, так чтоб все наслаждались видом, защищенные старой стеной от ветра. Игрою случая стену поставили некогда как продолжение дома, возможно, с намерением

протянуть второе крыло туда, на террасу, на солнышко. Но не хватило средств: план забросили, а стена осталась, просто стена. Потом, уже следующее поколение посадило абрикосовые деревья, и они в свое время широко раскинули ветки над красным выцветшим кирпичом. Миссис Сэндс говорила, что хороший тот год, когда из абрикосов этих шесть банок варенья наваришь, — так к столу не подашь, нет, кислые больно. Может, три абрикоса и стоили, чтоб их в кисею обмотать. Но они были такие красивые голенькие, одна щечка розовая, другая зеленая, и миссис Суизин их голыми и оставляла, и осы в них буровили дыры.

Земля тут так поднимается, что, согласно путеводителю Фиггиса (1833), «открыт прекрасный вид на округу… шпиль Болниминстерского собора, Раф-Нортонские леса, и левей, на возвышенности, Каприз Хогбена, названный так потому…».

Путеводитель все еще соответствовал действительности. Соответствовал в 1833-м, и в 1939-м. Ни одного дома не выстроили, никакой город не возник. Хогбеновский Каприз все так же торчит; и сама плоская, раскроенная на участки земля изменилась только в одном — плуг в какой-то мере заменен тракторами. И нет лошадей, но

коровы остались. Будь сейчас с нами Фиггис, Фиггис бы все повторил слово в слово. Так всегда они говорили, сидя тут летом за кофе, когда у них были гости. Когда были одни, ничего не говорили. Просто смотрели, смотрели на то, что наизусть знали, смотрели — вдруг сегодня что-то изменится. Обычно все оставалось по-прежнему.

— Оттого этот вид так печален, — говорила миссис Суизин, погружаясь в шезлонг, который принес ей Джайлз, — и так прекрасен. И все это будет тут, — она кивнула дымчатой дали полей, — когда нас не станет.

Свой шезлонг Джайлз поставил рывком. Только так он мог выказать свое раздражение, свою злость — сидят, разглядывают виды, прихлебывая кофе со сливками, шляпы несчастные, когда вся Европа — там — ощетинилась, как… он был не мастер метафор. Лишь бедное слово «еж» отвечало его видению Европы, ощетинившей пушки, поднявшей в небо аэропланы. В любую секунду пушки могут вспахать эту землю, аэропланы в куски разнесут Болниминстер, а от всех их Капризов мокрое место оставят. Он и сам любит этот вид. А ругает тетю Люси, разглядывающую виды, вместо того… вместо чего? Что ей еще прикажете делать на этом свете? И так уже — вышла за

помещика, он теперь умер, родила двоих детей, один в Канаде, другой в Бирмингеме, женат. Отца-то он любит, отец — вне критики; ну а у него самого — одно цепляется за другое; и вот — сидит с этими шляпами, виды разглядывает.

— Просто мечта, — сказала миссис Манреза. — Мечта… — она промычала. Закуривала папироску. Ветер загасил огонек. Джайлз, сложив ладонь лодочкой, зажег ей новую спичку. Она тоже была вне критики — почему, неизвестно.

Коль скоро вас интересует живопись, — Бартоломью повернулся к немотствующему гостю, — быть может, вы растолкуете мне, почему мы, как нация, так нелюбопытны, безответственны и бесчувственны, — видно, это шампанское так разливалось в три ручья, — к такому благороднейшему искусству, тогда как миссис Манреза, если она мне позволит мою стариковскую вольность, Шекспира наизусть знает?

— Шекспира наизусть! — вскинулась миссис Манреза. Приосанилась. — «Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Что благородней духом…» Ну а теперь вы! — и локотком подтолкнула Джайлза, который сидел рядом.

— «Душа моя мрачна — скорей, певец, ско-

рей…»[14] — Айза выпалила первое, что в голову пришло, лишь бы выручить мужа.

— «Вот арфа золотая…»[15] — подхватил Уильям Додж.

— То-то! — крикнул Бартоломью, воздев перст. — Каких же вам еще доказательств! А какая пружина нажмется, какой тайник откроет свои сокровища, когда я скажу, — он поднимал остальные пальцы, — Рейнольдс! Констебл! Кром![16]

— А почему его называют «Старый»? — блеснула миссис Манреза.

— У нас и слов таких нет — нет слов, — объясняла миссис Суизин, — в глазах, на губах, и все.

— Мысли без слов, — призадумался брат, — такое возможно?

— Нет, это не моего ума дело! — вскричала миссис Манреза и затрясла головой. — Ничего не поняла! Можно я себе еще подбавлю? Сама

---

[14] Примечания: 14

Первая строка стихотворения Байрона из цикла «Еврейские мелодии» (пер. М. Лермонтова).

[15] Примечания: 15

Додж продолжает дальше то же стихотворение.

[16] Примечания: 16

Джон Констебл (1776–1837) — английский художник-пейзажист эпохи романтизма. *Джон Кром* (1768–1821) — английский художник-пейзажист эпохи романтизма, основатель Норвичской школы пейзажной живописи.

знаю, не надо. Но в таком возрасте — и при такой комплекции — уже все позволено.

Взяла серебряный маленький сливочник и подлила обильно-кудрявую струю в свою чашку, куда подбавила еще и сахара — ложку с верхом. И ритмично, с наслаждением, аппетитно помешивала кофе, кругами, кругами.

— Берите что хотите! Угощайтесь! — прокричал Бартоломью. Он чувствовал, что действие шампанского вот-вот погаснет, и спешил добрать последние крохи веселости, попользоваться — так окидывают соловеющим взглядом освещенную комнату, перед тем как отправиться спать.

Дитя природы, снова, как рыба в воде, резвясь в этом приливе стариковского благоволенья, над краем чашки глянуло на Джайлза, ощущая себя с ним в тайном сговоре. Какая-то нить их опутала, видимая, невидимая, как тенетник — то видно его, то нет — опутывает былинки перед осенним рассветом. Она всего раз его видела, на крикете. И сплелась между ними та ниточка в первом брезге, когда еще не проступили из темноты побеги и листики более крепкой связи. Перед тем как глотнуть, она глянула. Этот взгляд подбавлял еще сладости чашечке кофе. К чему обирать себя,

будто спрашивал этот взгляд, терять хоть единую каплю, которую можно выдавить из нашей спелой, тающей, нашей обворожительной жизни? И она прихлебнула из чашки. И воздух вокруг нее накалился. Бартоломью это чувствовал, Джайлз это чувствовал. Будь он конь, темную холку его передернуло бы, словно туда сел овод. Айзу тоже передернуло. Злость, ревность ей царапали кожу.

— А теперь, — миссис Манреза поставила чашку, — насчет этого праздника, куда мы вломились. — И это тоже у нее вышло кругло и сладко, как абрикос, который буравят осы. — Расскажите же мне, что это будет такое? — Она повернулась. — Я, кажется, слышу? — прислушалась. И услышала смех в кустах, там, где терраса ныряет в кусты.

За прудом с кувшинками земля опять опускалась, и там, в ложбине, куманика наступала на пятки подлеску. И вечно была тень: летом в солнечных бликах, холодная и сырая зимой. Летом вечно летали бабочки: промахивали аполлоны, парили торжественные адмиралы, капустницы скромно облетали кусты, как надевшие кисейные платья, довольные судьбою молочницы. Ловле бабочек из поколения в поколение учи-

лись именно здесь: Бартоломью и Люси, Джайлз, Джордж только позавчера приступил к ученью, когда прихлопнул капустницу крохотным зеленым сачком.

Лучше не придумать места для гримерной, а для представленья, положительно, нет лучше места, чем терраса.

— Самое подходящее место! — скрепила мисс Ла Троб, когда в самый первый визит ей показывали окрестность. Тогда был зимний день. Деревья стояли голые. — Какое место для празднества, мистер Оливер! — Она воскликнула. И помахала рукой деревьям, безлисто дрогшим в четком январском свете. — Вот тут сцена, там — публика, а там, пониже, в кустах, отличнейшие гримуборные.

Ее хлебом не корми, только дай что-нибудь поставить. И откуда она такая взялась? С этой своей фамилией — вряд ли чистокровная англичанка. С Нормандских островов, нет? Глаза вот только, и еще что-то эдакое, даже не скажешь, всегда наводило миссис Бингем на подозрение, что тут не обошлось без русских корней. «Эти провалённые глаза, эта квадратная челюсть» напоминали миссис Бингем — не то чтоб та побывала в России — напоминали татар. Слух такой был, якобы

она держала в Уинчестере чайную — прогорела. Стала актрисой — опять-таки провалилась с треском. Купила четырехкомнатный домик и жила там с одной актрисой на пару. Вечно ругались. Ну что про нее еще можно сказать? Из себя такая смуглая, плотная, по полям расхаживает в халате, иной раз с папироской в зубах, а то и с хлыстом в руке, любит запустить очень даже крепким словцом — так, может, никакая она и не леди? Но обожает пьесы ставить, это у нее не отнимешь.

Смех замер.

— И они будут играть на сцене? — спросила миссис Манреза.

— Играть, танцевать, петь — всего понемножку, — сказал Джайлз.

— У мисс Ла Троб просто неистощимая энергия, — сказала миссис Суизин.

— Для всех придумывает дела, — сказала Изабелла.

— Нам отведена роль зрителей, — сказал Бартоломью, — кстати, очень ответственная роль.

— И мы еще чай подаем, — сказала миссис Суизин.

— Может, пойти помочь? — вскинулась миссис Манреза. — Бутербродов настрогать?

— Нет-нет, — сказал мистер Оливер, — мы

зрители.

— Как-то мы ставили «Иголку матушки Гуртон»[17], в другой раз сами пьесу сочиняли. У сына нашего кузнеца — Тони? Томми? — дивный голос. А Элси с Перекрестка — как она умеет подражать! Всех нас изобразила: Барта, Джайлза, Старого Пушка — это я. Народ талантлив — очень. Вопрос только — как это вытащить? О, она это удивительно умеет — мисс Ла Троб. Конечно, вся литература английская к нашим услугам — пользуйся на здоровье. Но как выберешь? В иной дождливый день сижу, прикидываю: вот это я читала, вот это — нет.

— И книги на полу оставляешь, — сказал ее брат, — как поросенок из той притчи, или это осел?

Она засмеялась и легонько потрепала его по колену.

— Осел, он не мог выбрать между сеном и репой и умер с голоду, — вмешалась Айза, первое, что пришло на ум, бросая между мужем и тетушкой; он сегодня особенно кисло слушал такое. Ставки открыты, ничего не решено, а ты тут сиди и играй роль зрителя.

---

[17] Примечания: 17

Комедия в стихах, поставленная впервые в Кембридже в 1566 г. Автор неизвестен.

— Мы сидим, мы зрители… — Слова отказывались сегодня смирно строиться фразой. Стоят, щетинятся, грозят тебе кулаками. Он сегодня не Джайлз Оливер, которому хочется посмотреть, как деревенские сыграют свой ежегодный спектакль, нет, он прикован к скале и должен бездейственно созерцать невыразимый кошмар. Все это отражалось у него на лице, и Айза, не зная, что бы такое сказать, вдруг, отчасти нарочно, уронила кофейную чашку.

Уильям Додж ее подхватил на лету. Подержал минутку. Перевернул. По нежно-голубому клейму (скрещенные клинки) на блестящем донце он заключил, что чашка английская, изготовленная, по-видимому, в Ноттингеме, году примерно в 1760-м. Его мина — вот изучается клеймо, вот рождается вывод — Джайлзу послужила новым крюком, на который можно повесить злость, как вешают на крюк пальто, привычно, бездумно. Подлиза, втируша, темная лошадка. Такой будет тянуть, вертеть и ощупывать чувства, прицеливаться, приценяться; жеманная мямля, разве способен такой на простую любовь к женщине — сидит с Айзой чуть ли не голова к голове — нет, просто обыкновенный… При этом слове, которое не произносят на людях, он стиснул зубы, и

перстень совсем покраснел у него на мизинце — так побелел сам палец, когда рука вцепилась в шезлонг.

— Ой, до чего интересно! — проворковала миссис Манреза. — Всего понемножку: песни, пляски и пьеса, разыгранная пейзанами. Только вот, — тут она, склоня голову, повернулась к Изабелле, — я уверена, она *это* все сама сочиняет. А вы, миссис Джайлз?

Айза покраснела и не согласилась.

— Я лично, — продолжала миссис Манреза, — откровенно говоря, двух слов связать не могу. Даже не понимаю — такое трепло, язык без костей, а возьмусь за перо… — Она скорчила рожицу, сложила пальцы так, будто держит перо. Но перо, которое она держала так на маленьком столике, абсолютно отказывалось ее слушаться. — А почерк у меня! Буквы сикось-накось, большущие, безобразные… — Она снова скорчила рожицу и отбросила невидимое перо.

Очень точным движением Уильям Додж водворил злополучную чашку на блюдце.

— А вот он — наоборот, — сказала миссис Манреза, будто в точности его жеста усмотрела доказательство тому, как мастерски он владеет пером, — дивно пишет. Каждая буковка — просто

конфетка.

И снова все на него посмотрели. Он тут же спрятал руки в карманы.

Изабелла догадалась, какое слово Джайлз не мог выговорить. Да, и что с того, что Додж — ну, это слово? Зачем нам судить друг друга? Разве мы знаем друг друга? Не здесь, не сейчас. Но позже когда-нибудь этот туман и бурьян, эти тучи тоски и ненастья… — она ловила рифму, рифма убегала, ах, все равно — но позже когда-нибудь просияет солнце и все озарит.

Она вздрогнула. Опять этот хохот.

— Я их, кажется, слышу, — она сказала, — видно, они готовятся. Наряжаются там в кустах.

Мисс Ла Троб ходила взад-вперед среди потупленных берез. Одна рука сунута глубоко в карман, в другой — листок бумаги. Она в него заглядывала и вышагивала взад-вперед. Так капитан корабля мерит шагами палубу. Нежно-плакучие березы в черных браслетах по серебристой коре строем застыли на носу и на корме корабля.

Ясно будет или дождь? Выглянуло солнце, и, заслонив ладонью глаза, как это сделал бы капитан корабля на своем капитанском мостике, она решила рискнуть и устроить представленье под открытым небом. Прочь сомненья! Весь рек-

визит, она приказала, тащить из Сарая в кусты. Что и было исполнено. И артисты, покуда она шагала так взад-вперед — всю ответственность взяв на себя и всецело положившись на ясную погоду, — переодевались среди куманики. Откуда и шел этот смех.

Реквизит валялся в траве. Картонные короны, мечи из спрессованной фольги, тюрбаны — они же кухонные полотенца — по шесть пенсов штука — лежали в траве или были развешаны по кустам. Ручьи багреца и лиловости струились по тени, дрожал на солнце серебряный блеск. Костюмы приманивали бабочек. От багреца и лиловости шло тепло, шла сладость. Адмиралы жадно вбирали роскошь кухонных полотенец. Капустницы пили прохладу фольги. Порхая, ощупывая, возвращаясь, дегустировали цвета.

Мисс Ла Троб перестала шагать и окинула место действия взором. «Это можно использовать…» — бормотнула она. Ибо за пьесой, которую она только что написала, вечно маячила новая пьеса. Ладонью защищая глаза, она посмотрела. Кружили бабочки, свет дрожал, прыгали дети, матери хохотали… «Нет, не выйдет», — пробормотала она и снова стала шагать.

Командирша — они ее звали за глаза, как мис-

сис Суизин была у них Старый Пушок. Голос грубый, сама топором деланная, лодыжки опухли, грубые башмаки; то одно решит, то другое, гаркает, как из бочки, — все это им «во как надоело». Кому это понравится, чтоб тебя туда-сюда гоняли? Но вместе они к ней тянулись. Кто-то должен командовать. И есть на кого вину свалить. А вдруг дождик польет?

— Мисс Ла Троб! — вот, уже кричат. — А с этим-то что делать?

Она остановилась. Дэвид и Айрис — каждый одной рукой схватился за граммофон. Его следовало спрятать, но поближе к зрителям, чтобы слышно. Как! Разве не было указаний? Где увитые листвой плетни? Доставить. Мистер Стретфилд обещал обеспечить. Где мистер Стретфилд? На горизонте не наблюдалось никакой духовной особы. Может, он в Сарае? «Томми, гони за ним, живо!» — «Томми в первой сцене выступает!» — «Ну так Берил…» Матери спорили. Одну девочку взяли, другую — нет. Чем светлые волосы лучше темных? Миссис Эбьюри вообще не велела своей Фанни выступать — из-за крапивницы. В деревне ходило для этой крапивницы другое, название.

Дом миссис Болл не назвать приличным. В войну миссис Болл с другим жила, пока муж торчал

в окопах. Мисс Ла Троб все знала, конечно, но ни во что не желала вникать. Она плюхнулась в эту тонкую сеть, как огромный камень падает в пруд с кувшинками. И рвет ряску. Только корни в глубине, под водой, составляли для нее интерес. Тщеславие, например, — надо только умело на нем сыграть. Парням подай главные роли, девушкам подай красивые платья. А надо ужать расходы. Десять фунтов — предел. Но это попранье приличий! Опутанные приличиями, они не видят, как видит она, что намотанное на голову кухонное полотенце под открытым небом гораздо шикарней смотрится, чем настоящий шелк. Вот они и склочничают, ее дело сторона. И в ожидании мистера Стретфилда она вышагивала среди берез.

Другие деревья стояли великолепно прямые. Не то чтобы уж очень ровным строем, но все же ровным: как колонны собора, как собор без кровли, храм под открытым небом, и ласточки облетают ровные прямые колонны, штопают воздух, вышивают узор и пляшут, как пляшут эти русские, но не под музыку — под неслышный стук собственных диких сердец.

Смех затих.

— Придется спасать наши души терпени-

ем[18], — снова заговорила миссис Манреза. — Или надо помочь? — она глянула через плечо — с этими стульями?

Кэндиш, горничная и садовник — все тащили стулья — для публики. Публике было нечего делать. Миссис Манреза раздавила зевок. Все молчали. Вперили глаза в пейзаж так, будто что-то вдруг вынырнет из этих полей, чтоб избавить их от невыносимого бремени: сидеть, молчать, всей компанией ничего не делать. Каждый чувствовал, как близко к нему другой, и телом и духом, и все-таки — недостаточно близко. Невозможно, думал каждый порознь, думать и чувствовать порознь, и не вздремнешь. Слишком мы близко друг к другу, и все-таки — недостаточно близко. Это действовало на нервы.

Жара наваливалась. Растаяли облака. Все стало — сплошное солнце. Вид, оголенный солнцем, сплющился, смолк, застыл. Не переступали коровы, кирпичная стена уже не служила укрытием от ветра, выдерживала напор жары. Старый мистер Оливер тяжко вздохнул, дернулась голова, упала рука. Упала в нескольких сантиметрах от собачьей морды, рядом, в траву. И он, рывком, ее

---

[18] Примечания: 18

См. Евангелие от Луки. 21:19: «Терпением спасайте души ваши».

опять положил на колено.

Джайлз смотрел. Тесно сжав руками колени, смотрел на плоский простор полей. Пристально смотрел и молчал.

Изабелла себя чувствовала как в тюрьме. Сквозь решетку, затупясь о сонное марево, в нее попадали стрелы любви, ненависти. Но из-за этих чужих тел любовь и ненависть плавятся, мутятся. Всего отчетливей — выпила за завтраком сладкого вина — хотелось пить. «Стакан холодной воды, стакан холодной воды» — стучало в мозгу, и воображенье подсовывало забранную стеклянным сверканьем воду.

Миссис Манреза мечтала свернуться калачиком где-нибудь в уголке — с подушкой, глянцевым журнальчиком, кульком конфет.

Миссис Суизин и Уильям созерцали вид отвлеченно, рассеянно.

Как заманчиво, ах, как заманчиво отдаться на волю пейзажа, отражать его зыбь, и душу пустить по зыби, чтоб контуры расплывались и опрокидывались — вот так, рывком.

Миссис Манреза отдалась волнам, нырнула, пошла ко дну — и всплыла на поверхность — вот так, рывком.

— Упоительный вид! — Она воскликнула, яко-

бы собирая в ладонь папиросный пепел, на самом деле прикрывая проглоченный зевок. И вздохнула, собственную сонливость маскируя под тонкое чувство природы.

Никто ей не ответил. Плоские поля сверкали зелено-желтым, сине-желтым, красно-желтым и снова синим. Повторенье было бессмысленно, скучно, оно угнетало.

— Ну вот, — сказала миссис Суизин тихо, так, будто пришел ее час, будто что-то она обещала, и вот пришла пора исполнить. — Пойдемте, пойдем те, я покажу вам дом.

Она ни к кому в отдельности не обращалась. Но Уильям Додж понял, что это к нему. Она встала рывком, как кукла, которую дернули за веревочку.

— Какая прыть! — Миссис Манреза не то вздохнула, не то зевнула.

А хватит у меня духу тоже пойти? — спрашивала себя Изабелла. Они уходили. Больше всего на свете ей хотелось выпить воды, стакан холодной воды, но желанье увяло под свинцовым прессом хозяйского долга. Она смотрела им вслед — миссис Суизин семенила нетвердо, но бойко; Додж разогнулся и выпрямился, шагая с ней рядом по раскаленным плитам вдоль горячей стены, пока

они не ступили под тень дома.

Упал коробок — у Бартоломью. Пальцы разжались, он выронил спички. Он вышел из игры, его лучше было не трогать. Голову уронив на плечо, болтая рукой над собачьей мордой, он спал, он храпел.

Миссис Суизин постояла минуту в прихожей между столиками на золотых львиных лапах.

— А вот это, — она объяснила, — лестница. Теперь мы пойдем наверх.

И пошла наверх, на две ступеньки опережая гостя. Золотой атлас стлался по старым холстам, пока они поднимались.

— Она не из наших предков, — сказала миссис Суизин, поравнявшись с головой дамы на портрете. — Но мы ее оприходовали, потому что знаем ее — ох, уже тысячу лет. Кто она была? — посмотрела на даму. — И кто ее написал? — потрясла головой.

Дама сияла, как на пиру, ее заливало солнце.

— Но мне она больше нравится в лунном свете, — решила миссис Суизин и пошла дальше, наверх.

Когда дошли доверху, она слегка запыхалась. Как по свирели, пробежала пальцем по книжным корешкам вдоль стены площадки.

— А тут поэты, от которых мы происходим, духовно то есть, мистер… — и скомкала. Забыла его имя. Но все-таки она его выбрала. — Брат говорит, дом строили северней, чтобы жить, а не южней, чтобы на солнышке нежиться. И вот зимой у них сыро. — Она помолчала. — Ну а дальше у нас что?

И остановилась. Дальше была дверь.

— Утренняя комната, — она открыла дверь, — мама тут принимала гостей. — Через рифленый камин смотрели друг на друга два кресла. Додж заглянул за ее плечо.

Она затворила дверь.

— А теперь наверх, наверх. — Опять они поднимались. Так они шли — выше, выше, — она запыхалась и, кажется, оглядывала незримое шествие, — выше и выше, спать.

— Один епископ, один путешественник — даже забыла, как звали. Не знаю. Не помню.

Остановилась у лестничного окна, отодвинула штору. Внизу купался в солнечном плеске сад. Трава сияла, лоснилась. Жеманно семенили три белых голубя, нарядные, как дамы на балу. Элегантно покачивались, мелко переступали по траве розовыми лапками. И вдруг — вспорхнули, потрепетали, описали круг, унеслись.

— А теперь, — она сказала, — в спальню. — И очень отчетливо, дважды, постучалась в дверь. Склонив голову, вслушалась. — Никогда не известно, — пробормотала, — вдруг там есть кто-нибудь. — И распахнула дверь.

Он чуть ли не опасался, что кто-то там окажется — голый, полуодетый или на коленях, погруженный в молитву. Но комната была пуста. Комната была чиста, вылизана, в ней месяцами не спали, — гостевая. Свечи на комоде. Заправленное покрывало. Миссис Суизин остановилась возле постели.

— Здесь, — она сказала, — да, да, — она похлопала по покрывалу, — здесь я родилась. В этой самой постели.

Голос ей изменил. Она опустилась на край постели. Понятно, устала — такая лестница и жара.

— Но есть у нас и другая жизнь, я так думаю, я так надеюсь, — пробормотала она. — Мы живем в других, мистер… Живем в разных вещах.

Она говорила просто. Она говорила с трудом. Говорила, будто обязана одолевать утомление из вежливости к постороннему, к гостю. Она забыла его имя. Дважды сказала «мистер…» и осеклась.

Мебель была викторианская, куплена в «Мей-

плзе»[19], в сороковые, наверно, годы. На ковре лиловатые крапины. Белым кругом означено место под умывальником, где стояло ведро.

Может, сказать ей — зовите меня просто Уильям? Ему хотелось сказать. Старая, больная, карабкалась по такой лестнице. Высказывала свои мысли, не беспокоясь, не заботясь о том, что он их сочтет (он счел) бессвязными, сентиментальными, пустыми. Сама протянула руку, чтоб он ей помог на крутом подъеме. Угадала его заботы. Сидит на постели и мурлычет, качая маленькими своими ножками: «Приходи ко мне, дружок, покажу тебе свисток…» — старые детские стишки для умиротворенья дитяти. Стоя перед комодом в углу, он видел ее отраженье в стекле. Отделясь от тел, их глаза улыбались, их глаза бестелесно улыбались друг другу в стекле.

Она соскользнула с кровати.

— Ну вот, что у нас дальше? — и затрусила по коридору. Одна дверь стояла распахнутая. Все ушли в сад. Комната была — как покинутое командой судно. Тут играли дети — лошадка в яблоках замерла посреди ковра. Няня, бывало, шила — на столе остался полотняный лоскут. Леживал

---

[19] Примечания: 19
Большой мебельный магазин в Лондоне.

в колыбели младенец. Теперь колыбель пуста.

— Детская, — сказала миссис Суизин.

Слово взошло, раскатилось и стало символом. Она как будто сказала: «Колыбель нашего рода».

Додж прошел к камину, поднял глаза: с рождественской прикнопленной к стене картинки, сверху вниз посмотрел на него ньюфаундленд. Пахнуло теплом и сладостью, сохнущими одежками, молоком, теплой водой и печеньем. «Добрые друзья» — так называлась картинка. В открытую дверь ворвался гул. Додж обернулся. Старушка вышла в коридор и высунулась в окно.

Он дверь оставил открытой — для команды, когда вернется, — и пошел к миссис Суизин.

Под окном, во дворе, съезжались машины. Черные узкие крыши выкладывались паркетной плиткой. Выпрыгивали шоферы, старые дамы опасливо переставляли черные ноги в туфлях о серебряных пряжках, старые господа — полосатые брюки. Короткие брючки юнцов спешили в одну сторону, телесного цвета чулки — в другую. Взбивался, хрустя, желтый гравий. Публика собиралась. А они смотрели сверху — прогульщики, посторонние. Оба высунулись из окна.

Но вот задул ветерок, и все кисейные занавески разом дрогнули, блаженно вздохнули, потяну-

лись прочь, будто величавая богиня встала с трона в окружении равных и тряхнула янтарной своей оснасткой, и разом зашлись хохотом другие боги, видя, как она встает, уходит, и волны этого хохота ее унесли прочь.

Миссис Суизин подняла обе руки к волосам — их трепал ветер.

— Мистер… — она начала.

— Просто Уильям, — быстро перебил он.

И тут она улыбнулась чудной девичьей улыбкой. Или это все ветер, ветер овеял зимнюю синеву этих глаз янтарным теплом?

— Я лишила вас общества ваших друзей, Уильям, — извинялась она, — потому что у меня сжало вот тут, — она тронула свой костистый лоб, на котором синим червячком билась синяя жилка. Но в костяных впадинах светились глаза. Только эти глаза он видел. И вдруг ему захотелось броситься перед ней на колени, поцеловать ей руку, сказать: «В школе меня сунули в помойное ведро, миссис Суизин; я глянул вверх, и весь мир был грязный, миссис Суизин; потом я женился, но мой сын — не мой сын, миссис Суизин. Я недочеловек, миссис Суизин; дрожащий, неуверенный червь в траве, миссис Суизин; Джайлз заметил, но вы меня исцелили…» Так захотелось ему ска-

зать, но он ничего не сказал, а ветер шлялся по коридорам и выдувал занавески.

Снова он глянул и она глянула на желтый гравий, полукругом оторочивший подъезд. Нагрудный крест мотнулся, когда она высунулась, сверкнул на солнце. Зачем ей себя морочить этим истасканным символом? Такой зыбкой, такой переменчивой — зачем ей себя припечатывать этим идолом? Он смотрел на крест, и — они не были уже два прогульщика. И вдруг стало членораздельным постанывание колес на гравии. «Скорей, скорей, скорей, — говорили колеса, — опоздаете. Скорей, скорей, скорей, а то все лучшие места займут».

— Ах, — крикнула миссис Суизин, — вот и мистер Стретфилд! — И они увидели духовную особу, весьма крепкую духовную особу с охапкой листвы в руках. Он вышагивал среди машин как облеченный властью, как тот, кого ждали, на кого возлагали надежды, и вот — наконец — он пришел.

— Пора, — сказала миссис Суизин, — идти и присоединиться… — Она не кончила фразу, как будто сама не знала, как быть, и их качнуло направо, потом налево, как вспорхнувших с травы голубей.

Публика собиралась. Шли группками, парами, по траве, по дорожкам. Кто старый, кто в самой поре. Были и дети, были. Были, как мистер Фиггис не преминул бы отметить, представители лучших семейств — Дайсы из Дентона, Уикемы из Оулсуика, ну и так далее. Некоторые тут жили веками, не продав ни единого акра. С другой стороны, встречались и новенькие, такие Манрезы, которые старинные дома перекраивают по моде, присобачивая ванные комнаты. Ну и разные всякие тоже, как Коббет из Коббс-корнера, в отставке, живущий на ренту с чайных плантаций. Не позавидуешь. Самому хлопотать по дому, самому копаться в саду. А недавно построенные поблизости автомобильный завод и аэродром вообще привлекли изрядное количество случайного, пришлого люда. Как, скажем, мистер Пейдж, репортер, представитель местной газеты. И все-таки, в общем и целом, явись сюда вдруг мистер Фиггис во плоти, устрой перекличку, половина присутствующих дам и господ откликнулась бы: «Здесь, здесь я, там, где был мой дед и мой прадед». И в этот самый миг, в половине четвертого, в летний день 1939 года, они здоровались, занимая места, и норовили сесть поближе друг к дружке, и говорили: «Этот жуткий дом на

Пайз-корнер! Глаза бы мои не смотрели! А эти ихние кирпичные одноэтажки! Вы видели?»

И начни Фиггис, скажем, выкликать деревенских, уж они бы отозвались. Миссис Сэндс — была в девушках Айллиф, Кэндиша мать — из Перри. Зеленые холмы погоста набросаны их кротовой работой, веками рыхлившей землю. Кое-кто, конечно, отсутствовал, когда мистер Стретфилд в церкви устраивал перекличку. Мотоцикл, автобус, кинематограф — в них мистер Стретфилд, делая перекличку, усматривал главное зло.

Стулья, шезлонги, золоченые кресла, чьи-то плетеные стулья и невозможные садовые стульчики сволокли к террасе. Сидений для всех хватало. Но кто-то предпочел устроиться на земле. Мисс Ла Троб была совершенно права, когда определила: «Самое место для представления!» Лужок — ровный, как пол в театре. Приподнятая терраса служит естественной сценой. Вязы, как колонны, обрамили сцену. И потом — человеческая фигура так выгодно выделяется на фоне неба. Ну а насчет погоды — вопреки всем предсказаньям, денек выдался ясный. Отменный выдался денек.

— Повезло! — говорила миссис Гартер. — А то в прошлый год…

Но уже начиналась пьеса. Пьеса? Или нет? Ж-ж, ж-ж, ж-ж, — прожужжало в кустах. Так машина жужжит, когда в неисправности. Кто поскорее сел, кто виновато смолк. Все смотрели на кусты. Ибо сцена была пуста. Ж-ж, ж-ж, ж-ж, — жужжало в кустах. Кто-то глянул с опаской, кто-то на полуслове оборвал разговор, а тем временем девочка, как бутончик, вся в розовом, вышла из-за кустов, встала на коврик за раковиной, увитой листвой, и пропищала:

Дворяне и простолюдины…

Ага, уже пьеса. Или это пролог?

Сюда, сюда скорей, все к нам на праздник!

Она продолжала.

То праздник истории нашей.
Я — Англия…

— Она — Англия, — шептались в рядах, — началось.

— Пролог, — прибавляли, глянув в программку.

Я — Англия.

Пропищала она снова и смолкла.

Забыла слова.

— Внимание, внимание! — бодро крикнул старик в белом пиджаке. — Браво! Браво!

— Ах, чтоб их черт побрал! — выругалась мисс Ла Троб, спрятанная за березой.

Она оглядела первый ряд. Закоченели, как будто их щиплет и обездвиживает мороз. Только Бонд, пастух, чувствует себя совершенно в своей стихии.

— Музыка! — жестом повелела мисс Ла Троб. — Музыка!

Но граммофон жужжал свое ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж.

— «Дитя, рожденное…» — понукала она.

Дитя, рожденное…

Подхватила Филлис Джонс.

Дитя, рожденное из вод,
Игрою волн и крепостью ветров
От галлов и германцев отделенный,
Наш остров.

Она глянула через плечо. Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж, — жужжал граммофон. Длинная цепь деревенских, наряженных в рубахи из мешковины, начала ходить гуськом, туда-сюда, позади

нее, между деревьев. Они пели, но ни единого слова не долетало до публики.

Я — Англия.

Продолжила Филлис Джонс, глядя на зрителей.

Пока мала я и слаба,
Еще дитя, как видите вы сами…

Слова ссыпались на зрителей градом маленьких острых камешков. Миссис Манреза улыбалась, сидя на видном месте, но чувствовала, что кожа у нее вот-вот лопнет от этой улыбки. Огромная пустота ее отделяла от этих поющих пейзан, от этой щебечущей девочки.

Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж, — жужжал граммофон, как коса о траву на зное.

Деревенские пели, но половину слов сносил ветер.

Путь проторив… Мы взошли на вершину…
В долине вепрь и зубр, и носорог, олень…
пробирались к вершине… молотили зерно…
и… под землю легли…

Слова сносило ветром. Ж-ж-ж ж-ж-ж ж-ж-ж, — жужжал граммофон. И вот — вытолкнул-таки из себя мелодию!

Своей судьбе навстречу
Поднялся Родерик[20],
Собой прекрасен,
Могуч и властен,
Поспешает на бой, на бой,
На помощь друзьям, друзьям,
На погибель врагам…

Пошло-парадный мотив блеял, взвывал, спотыкался. Мисс Ла Троб смотрела из-за березы. Мышцы расправились, лед тронулся. Вот — пышная дама в третьем ряду уже рукой отбивает такт.

Миссис Манреза напевала:

Мой дом стоит в Виндзоре,
Он рядом с кабаком.
«Король Георг», вот так-то
Зовется милый паб.
И, мальчики, ах, там, ах, там
Кейфую я по вечерам…

Волны мелодии ее несли. Царственно, благо-

---

[20] Примечания: 20

Родерик — король вестготов, правивший в 709–711 годах, известен как «последний король готов». По факту был последним готом, правившим Толедо, но не последним готским королем, и это звание принадлежит Ардо. *Роберт Саути* (1774–1843) написал о нем поэму «Родерик, последний из готов» (1814).

желательно, добродушно сияя, дитя природы сделалось Королевой бала. Пьеса началась.

Но опять возникла помеха.

— О, — взвыла мисс Ла Троб за своей березой, — какая пытка, эти помехи!

— Простите, что опоздала, — извинялась миссис Суизин. Она протискивалась вдоль рядов к своему креслу рядом с братом. — Про что это? Я пролог пропустила. Англия? Эта девочка? Но вот же она ушла…

Филлис скользнула со своего коврика.

— А это кто? — спрашивала миссис Суизин.

Это была Хильда, Плотникова дочка. Встала там, где только что стояла Англия.

– «О, Англия уж подросла…» — подсказывала мисс Ла Троб.

О, Англия уж подросла.

Пропела Хильда.

— Какой дивный голос, — не удержался кто-то.

Увито розами ее чело,
Дикими розами, алыми розами,
И по лугам она гуляет,
Ромашки собирает,
Себе венок сплетает.

— А-а, подушечка? Премного благодарна, — миссис Суизин подпихнула подушку себе под спину. И вся подалась вперед. — Англия времен Чосера, я так понимаю. Собирает цветы и орехи. На голове венок… Но вот эти, которые сзади, ходят, ходят куда-то… — Она на них показала рукой.

— Кентерберийские паломники?[21] Смотрите!

Деревенские все ходили взад-вперед между березами. Они пели, но редко какое слово долетало до публики. *«Пролагали тропы… в долине строили дом…»* Ветер сносил слова, и вот, дойдя до самой последней березы, они заголосили:

Ко гробу Святого… к раке его… любя… и веруя… мы пришли.

И сбились в кучу.

И опять был шорох, опять помеха. Задвигались стулья. Айза оглянулась. Наконец явились мистер и миссис Руперт Хейнз, задержанные каким-то дорожным происшествием. Сидит с правой стороны, на несколько рядов дальше, — человек в сером.

---

[21] Примечания: 21

«*Кентерберийские рассказы*» — незавершенное произведение поэта *Джеффри Чосера* (1340–1400), написанное в конце XIV века на средне-английском языке.

Меж тем паломники, отдав свои почести раке Святого, по-видимому, ворошили граблями сено.

Я девушку поцеловал
И с миром отпустил,
А вот другую повалил,
Да, в сено повалил…

Так они пели, наклоняясь и вороша незримое сено, когда снова она оглянулась.

*— Сцены из английской истории, — объясняла миссис Манреза. Она обращалась к миссис Суизин так громко и весело, будто старуха глуха, как тетерев. — Добрая старая Англия. — И энергично захло*пала.

Паломники шустро шмыгнули в кусты. Музыка пресеклась. Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж, — жужжал граммофон. Миссис Манреза заглянула в программку. Эдак они нас до полуночи тут протомят, если ничего не опустят. Ранние бритты, Плантагенеты, Тюдоры, Стюарты — она загибала пальцы; хоть, очень возможно, династия-другая у нее и вылетела из головы.

— Смелый замысел, а? — сказала она Бартоломью во время запинки. Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж, — жужжал граммофон. Поговорить-то можно? Можно поразмяться? Нет, пьеса продолжалась.

Хоть сцена была пуста, двигались только коровы в лугах, тишину нарушало только тиканье граммофонной иголки. И это тик-тик-тиканье держало их вместе, как под гипнозом. Ничего абсолютно не происходило на сцене.

— Вот не думала, что мы так мило выглядели, — шепнула Уильяму миссис Суизин. Почему же? Эти дети, паломники, а за ними деревья, а дальше поля, поля — от красоты мира у него захватило дух. Тик-тик-тик — тикал граммофон.

— Отмечает время, — шепнул старый мистер Оливер.

— Которого нет у нас, — бормотнула Люси. — У нас только теперешний миг.

Разве этого мало? — думал Уильям. — Красота — этого мало? — Но тут Айза заерзала. Нервно потянулась к голове загорелыми руками. Просто вывернулась на стуле. «Но не у нас, не у нас, у которых есть будущее», — не это ли она говорила? А будущее разрушает теперешний миг. Кого она там высматривает? Уильям посмотрел по направлению ее взгляда, но увидел только какого-то господина в сером.

Тиканье прекратилось. Поставили танцевальный мотив. В такт ему Айза бубнила: «Чего мне жаль? Сейчас, сейчас, умчаться вдаль, где день

погас, где светит ночь, умчаться прочь, где нет разлук, лишь встреча глаз, лишь встреча рук…»

— Ой, — сказала она вслух, — посмотрите на нее!

Все хлопали, все хохотали. Из-за кустов явилась королева Елизавета — Элиза Кларк, у которой лицензия на продажу табака. Неужели же это миссис Кларк из нашей лавочки? А разодета! Голова, увитая жемчугами, гордо встает из высоченного плоеного воротника. И всю ее обтекают блестящие атласы. Как рубины, как изумруды, горят грошовые броши, жемчуга смотрят вниз, на макушке — серебро, серебро, а если точней, наждачная бумага, которой кастрюли скребут. Ну типичное олицетворение века. А как еще взошла на ящик из-под мыла, означающий, надо думать, скалу в океане, так стала, при своем этом росте, ну прямо гигант. В лавке-то она одним махом сгребает окорок, пива бочонок. Так стояла она минуту гордо, державно, а позади проплывали синие облака. Задувал ветерок.

Владычица страны великой…

Вот первые слова, поднявшиеся над хлопками и хохотом.

Владычица судов, мужей брадатых, —

горланила Элиза, —

Хокинса, Фробишера, Дрейка[22],
Ссыпавших апельсины и лимоны,
И слитки серебра, алмазы и дукаты
На молы запада, на брегах дальних —

ткнула кулаком в горящее синевой небо, —

Владычица дворцов, щипцов и башен, —

простерла руку в сторону дома, —

И для меня, для Королевы,
Пел мой певец Шекспир, —

промычала корова, чирикнула птичка, —

Малиновка и дрозд
В лесу зеленом, диком,
Хвалу мне пели, славу Королеве,
И Англии любимой пели славу,
Но слышался всечасно

---

[22] Примечания: 22

Сэр Джон Хокинс (1532–1595) — английский моряк, кораблестроитель, адмирал, работорговец и капер. *Сэр Мартин Фробишер* (1535–1594) — английский мореплаватель и капер, совершивший три экспедиции к берегам Северной Америки. *Сэр Фрэнсис Дрейк* (1545–1596) — английский капитан, капер, военно-морской офицер и исследователь. Первый англичанин, совершивший кругосветное путешествие (2-е в истории после Ф. Магеллана), фактически командовал английским флотом при разгроме испанской «Непобедимой Армады» в 1588 г.

По городам и весям
От Виндзора до Оксфорда повсюду
Смех громкий или тихий.
Любовник, воин,
Мальчик светлокудрый, —

простерла крепкую загорелую руку, —

С приветом простирал он руку,
Когда домой от островов далеких
Отважные стремились мореходы…

Тут ветер подергал ее головной убор. Ничего, он был тяжелый из-за жемчугов. Зато пришлось придержать воротник, он буквально на ниточке держался.

— Смех, смех громкий, смех тихий, — себе под нос пробрюзжал Джайлз.

Мелодия на пластинке вихлялась, качалась как пьяная — от радости. Миссис Манреза отбивала ногой такт и тихонько подпевала.

— Браво! Браво! — выкрикнула она. — Есть еще порох в пороховницах!

И, сминая, корежа, отбарабанила слова песни с лихостью, которая, как ни была вульгарна, спасла елизаветинский век. Ибо плоеный воротник окончательно отстал, и Великая Элиза забыла слова. Но публика хохотала, хохотала, и все, все

было не важно.

— «Боюсь, я не совсем в своем уме»[23], — под ту же мелодию пробубнил Джайлз. Слова вынырнули на поверхность — припомнилось: «Как раненый олень, отбившийся от стада…»[24] Изгнанная со своего праздника, обиженная музыка ударилась в иронию… «Неспящих солнце! Грустная звезда! Как слезно луч мерцает твой всегда… всегда… всегда»[25], — он повторял, забыв слова и глядя на тетю Люси, которая вся подалась вперед на стуле, разинув рот и стиснув маленькие костистые ручки.

Над чем это они там смеются?

А над Албертом, местным идиотом. Этого можно не наряжать, не гримировать. Вот кто играет свою роль идеально. Бегает, гримасничает, корчит рожи.

Я знаю, где в кусточках,
Таится синица,
Я знаю, я знаю,
Чего уж я не знаю?

---

[23] Примечания: 23
У. Шекспир. Король Лир. Акт 4, сц. 7 (пер. Б. Пастернака).

[24] Примечания: 24
Строка из стихотворения *Уильяма Каупера* (1731–1810) «Сад».

[25] Примечания: 25
Дж. Байрон. Неспящих солнце! Грустная звезда! (Пер. А. Толстого).

Все ваши секретики, девчонки,
И ваши секретики, ребята…

Пробежал вдоль первого ряда, каждому по очереди осклабясь в лицо. Вот — дернул за юбки Великую Элизу. Как она его оттаскала за ухо! Он ущипнул ей задницу. Сам не свой от восторга.

— У Алберта звездный час, — пробормотал Бартоломью.

— Лишь бы припадка не было, — пробормотала Люси.

– *Я знаю… я знаю…* — квохтал Алберт, носясь вокруг ящика из-под мыла.

— Местный идиот, — шепнула рослая темная дама — миссис Элмхерст. За десять миль притащилась, из деревни, мало ей своего идиота. Нет, это не дело, не дело. А вдруг он какую-нибудь жуть выкинет? Вот, за юбки Королеву хватает. Миссис Элмхерст даже глаза прикрыла рукой, на случай, если он… выкинет какую-нибудь жуть.

Тра-ля-ля, тпра-ля-ля, —

голосил Алберт, —

Рраз — в окошко, рраз — за дверь,
Что синичка слышит?

Свистнул, сунув в рот два пальца.

Глядь! Ведь это мышка…

Изобразил охоту на мышь в траве.

Вот — бьют часы!

Выпрямился, надул щеки, будто из одуванчика часы выдувает.

Раз, два, три, четыре…

И заковылял прочь, как бы кончив сцену, под аплодисменты.

— Так-то оно лучше, — миссис Элмхерст высвободила из-под пальцев глаза. — Дальше что у них? Живые картины?..

Ибо рабочие сцены, поспешая из-за кустов с плетнями в руках, окружили трон Королевы обклеенными бумагой щитами, долженствующими изображать стены. Землю усеяли тростником. Паломники же, до сих пор исполнительно ходившие с песнями взад-вперед, теперь сплотились вокруг Элизы на ящике из-под мыла, как бы образуя публику в театре.

Что ли — пьесу в присутствии королевы Елизаветы будут разыгрывать? Так, может, это театр — «Глобус»?

— А что в программе? — и миссис Уинтроп подняла к глазам лорнет.

Она бормотала себе под нос, продираясь сквозь слепую печать. Да. Это сцена из пьесы.

— Про самозваного герцога, принцессу, переодетую мальчиком, давно пропавший наследник оказывается уличным попрошайкой, благодаря родинке на руке, Каринтия — она дочь того герцога, только потерялась в пещере, — влюбляется в Фердинандо, которого в раннем детстве старая карга положила в корзину. И они женятся. Вот что происходит, как я понимаю, — заключила она, подняв от программки глаза.

— *Играйте пьесу,* — повелевает Великая Элиза.

Старая карга семенит вперед («Миссис Оттер с околицы», — пробормотал кто-то), — садится на ящик и начинает поправлять свои лохмы, качаться из стороны в сторону: вот она вам — старая бабушка у камелька. («Та старуха, которая спасла истинного наследника», — оповестила миссис Уинтроп.)

Была зима и ночь была, —

каркает старуха, —

Хотя, по мне, теперь одно, что лето, что зима.

Ты говоришь про солнца свет?

Не спорю я с тобой.

Но вот сейчас стоит зима И над землей туман.
А бедной Элсбет все одно, что лето, что зима,
Когда у камелька сидит И четки теребит.
Считает. Есть ей, что считать.
Каждая бусина…

Зажимает бусину между большим и указательным пальцами

…Преступленье!
Была зима, и ночь была, и петел не пропел,
Но петел пел, когда ушел,
Тот от меня ушел —
Лица не видно, кровь на нем,
В корзине же — дитя.
— Агу-агу, — лепечет,
Несчастный дуралей!
— Агу-агу-агу?! — Убить его
Никак я не смогла!
За то простит мои грехи
Владычица сердец,
Какие совершала я,
Покуда петел не пропел!
Я на заре пошла к ручью,
Где чайки в вышине,
Где цапля замерши стоит,

Как веха на краю
Трясины…
Кто там?

Трое молодых людей вываливаются на сцену и надвигаются на старуху.

Вы здесь, чтобы меня пытать?
В моих руках так мало крови…

Выпрастывает из-под рубища тощие локотки.

Да охранят меня Святые в Небесах!

Она вопит. Те вопят.

Все вопят хором, и трудно разобрать, о чем речь, в общих чертах.

Ты помнишь, как снесла к реке корзину и укрыла в камышах, тому назад лет двадцать?
Дитя в корзине, старая! —

они вопят.

Ветер воет, выпь кричит, —

отвечает она.

— В моих руках так мало крови, — повторила Айза.

Это единственное, что она поняла. На сцене

так все спуталось, глухота старухи, вопли юнцов, невнятица сюжета — ничего не разберешь.

А черт ли в нем, в сюжете? Она поерзала, оглянулась через правое плечо. Сюжет только на то и годен, чтоб вызывать чувства. А чувств есть только два: любовь и ненависть. И стоит ли распутывать сюжет? И может, мисс Ла Троб права, что с маху рубит узел?

Но что там у них? Является Принц.

Карга тут же вцепляется ему в рукав, видит родинку, и, откинувшись в своем кресле, голосит:

Мое дитя! Мое дитя!

Далее — сцена узнаванья. Принц (Алберт Перри) чуть не задушен хилыми старческими руками. Наконец ему удается вырваться.

Смотрите! Вот она! —
кричит он.

Все посмотрели — явилась Сильвия Эдвардс в белом сатине.

Кто это? Айза посмотрела. Песнь соловья? Перл в черной мочке ночи? Любовь сама.

Все руки поднялись, все глаза смотрели.

Привет тебе, прекрасная Каринтия!

Принц взмахивает шляпой. А она ему, поднимая взор:

Любовь моя! Мой повелитель!

— Хватит. Хватит. Хватит, — твердила Айза.

Дальше пошло совсем уж невозможное — словесный хлам, повторы.

Меж тем старуха — и давно пора, хватит уже, — откидывается в кресле, и четки виснут у нее на пальцах.

Смотрите на старушку — старой Элсбет дурно!

Ее окружают.

Умерла!

Она безжизненно откидывается в кресле. Толпа пятится. Мир праху твоему. Покой тебе, которой было все одно, зима ли, лето.

Покой — вот третье чувство. Любовь. Ненависть. Покой. Три чувства — тройной узел, которым завязана наша жизнь.

Тут священник произносит благословенье, с трудом выпрастывая каждый слог из ваты своих усов:

Запутавшиеся в пряже жизни руки Ей разо-

мкните.

Ей размыкают руки.

Не будем помнить боле
О слабости ее.
Зовите ласточку, дрозда, зарянку[26],
И розами они осыпят тело.

Ее осыпают лепестками из корзинок.

Укройте труп. И да почиет с миром.

Труп укрывают.

А вот на вас, —

он обращается к счастливой паре, —

Пусть Небо милостей дождем прольется.
Спешите же, пока закат
Пологом ночи не задернут.
Пусть музыка гремит,
Пусть вольный воздух Неба
Покоем дышит!
Идите танцевать!

Взвой граммофона. Герцоги, прелаты, пастухи,

---

[26] Примечания: 26
Эта строка — цитата из трагедии *Джона Уэбстера* (1580–1625) «Белый дьявол».

паломники, слуги берутся за руки и пускаются в пляс. Местный идиот прыгает, путается у всех под ногами. Взявшись за руки, сталкиваясь лбами, они пляшут вокруг елизаветинского века, олицетворенного могучей миссис Кларк, обладающей лицензией на продажу табака и высящейся на ящике из-под мыла.

Перепутаница, дребедень, дух захватывающее зрелище (для Уильяма): полуголые, нагло размалеванные, в пятнах солнца, в пятнах тени, как они скачут, прыгают, выбрасывают руки, ноги. Он хлопал, пока ладони себе не отбил.

Миссис Манреза хлопала от души. Как-никак — она была королева, а он (Джайлз) — ее рыцарь, ее суровый герой.

— Браво! Браво! — кричала она, и от ее энтузиазма корежило сурового героя. И благородная леди в кресле-каталке, леди, которая, выйдя за местного лорда, растворила в хлипком титуле то имя, которое еще тогда гремело, когда шиповник и куманика росли на месте нынешней церкви, — леди исконная, такая, что своим артритным телом напоминала зверя неведомой, ночной, почти уже вымершей породы, — даже эта леди захлопала в ладоши и захохотала — как спугнутая сойка. — Ха-ха-ха! — хохотала она, тиская ручки

кресла артритными пальцами без перчаток.

Мы цветы сбираем, мы венки сплетаем, —

голосят актеры, —

По полям гуляем и венки сплетаем, сплетаем, сплетаем…

Слова чушь, кто что поет — плевать. Кружат, кружат, пьяные от музыки. Потом, по знаку затаившейся за дубом мисс Ла Троб — пресекается танец. Образуется шествие. Великая Элиза нисходит со своей тары. И, подобрав юбки, машистым шагом, в окружении принцев и герцогов, с влюбленной четой, резвящимся идиотом Албертом и похоронными дрогами в хвосте, елизаветинский век удаляется со сцены.

— О, чтоб их черт побрал! — Мисс Ла Троб в бешенстве пнула ногой корень и больно ударилась. Тут провал, тут яма. Перерыв. Настряпав столько дичи[27] в своем обиталище, она согласилась было тут оборвать пьесу; раба публики — сдалась на конюченье миссис Сэндс — насчет чая, насчет обеда, и рубанула по живому. Только заварила чувства — и выливать? А потому она дала сигнал:

---

[27] Примечания: 27

Отсылка к Шекспиру «Где столько дичи мне переварить?» Генрих IV. Акт 3, сц. 1 (пер. Б. Пастернака).

Филлис! И посреди ковра опять водворилась Филлис.

Дворяне и простолюдины, —

она пропищала, —

К вам, к вам слова мои.
Наш акт окончен.
Мы рассказали
О старой бабушке и двух влюбленных.
И почка лопнула, опал цветок.
Но скоро засияет новый день,
Другого времени мы станем на пороге,
И мы увидим, о, мы увидим,
Да, увидим…

Голос растаял в шуме. Никто не слушал. Зарыв носы в программки, читали «Перерыв». И, прерывая Филлис на полуслове, громкоговоритель ясно возгласил: «Перерыв». На полчаса, будет подан чай. И грянул граммофон:

Поднялся Родерик,
Могучий, смелый воин,
Навстречу злой судьбе,
И воинов отряды…

и т. д., и т. д., и т. д.

Все пришло в движенье. Кто сразу вскочил, кто согнувшись нашаривал трость, сумочку, шляпу. Поднимались, оглядывались, а музыка изменилась. Музыка пела: *нас разбросало*. Она стонала: *нас разбросало.* Она жалобилась: *нас разбросало*, когда пошли, яркими пятнами на траве, через лужайки, по тропкам, *нас разбросало.*

Миссис Манреза ухватила мотив.

— Смело, без страха, — пнула мешавшийся под ногами шезлонг, — девушки, парни, — огляну-лась, но Джайлз к ней стоял спиной, — за мною, за мною… О! Мистер Паркер! И вы туда же? Какой сюрприз! Чаю до смерти хочется!

— Нас разбросало, — бубнила Айза, идя за ней следом. — Все кончено. Волна разбилась. Нас бросила на берег. Всех врозь на дикой гальке. Тройной разрублен узел… а я иду, — она оттолкну-ла свой стул… человек в сером потерялся в толпе возле падуба, — за этой старой шлюхой, — то есть цветистой и тугой миссис Манреза, — чай пить.

Додж плелся сзади.

— Пойти, — он бормотал себе под нос, — или остаться? Смыться, или идти, идти, идти за раз-бредающейся толпой?

Нас разбросало, рыдала музыка, *нас разбросало.* Джайлз стоял, как забивная свая, в отливе

толпы.

— Пойти? — Он отпихнул свой стул. — Куда? За кем? — Легкой теннисной туфлей ударился о деревяшку. — Некуда. Никуда. — Он стоял как вкопанный.

Коббет из Коббс-корнера стоял одиноко под лиственницей, бормоча:

— И что было у ней на уме, а? И куда она метила, а? И зачем было старину такую откапывать и так их разряжать, и чтоб они все перли, перли на эту лиственницу?

Нас разбросало, жалобилась музыка, *нас разбросало.* Коббет повернулся и медленно побрел вслед уходившей компании.

Люси меж тем, вытягивая из-под кресла сумочку, щебетала брату:

— Барт, дружочек, идем… А помнишь, когда маленькие были, в какую это мы игру играли в детской?

Он помнил. В индейцев — такая игра: воинский вызов — бумажку — наворачивают на окатыш, протыкают тростинкой.

— Но для нас с тобой, моя милая Синди, — он подобрал свою шляпу, — игра окончена. — Шум, гам, треск, блеск и тамтамы — он разумел. Он ей подал руку. И они прошествовали вослед

остальным. И мистер Пейдж, репортер, отметил: «Миссис Суизин, мистер Б. Оливер», затем, оглядевшись, добавил: «Леди Хазлип из Хазлип-Мэнор», о благородной леди в каталке, которую, замыкая шествие, толкал лакей.

Под прощальный стон спрятанного в кустах граммофона зрители расходились. *Нас разбросало,* он сетовал, *нас разбросало.*

Мисс Ла Троб вышла из-за укрытия. Растекались, струились по траве, по гравию собранные вместе ее волей — пока еще — зрители. Пусть недолго, пусть двадцать минут, но они ведь смотрели на то, что она им показывала? Сказаться, разделить свое видение — освободиться от муки… хоть на миг… хоть на миг. Но музыка оборвалась на последнем — *нас*. Она услышала, как ветер шуршит в ветвях. Увидела, как стоит Джайлз Оливер, ко всем спиной. И Коббет из Коббс-корнера — туда же. Этим она ничего не сумела сказать. Провал, опять провал, о черт! Как всегда. Сказаться не удалось. Виденье подкачало. И, повернувшись, она шагнула к актерам, переодевавшимся в лощине, где на серебряных бумажных рапирах пировали капустницы, где кухонные полотенца желтыми лужами растекались по тени.

Коббет вынул из кармана часы. До семи еще три часа, он прикинул, потом цветы поливать. Он повернул — за всеми.

Джайлз, сложив свой шезлонг, тоже повернул, но в другую сторону. Пошел по полю, срезав путь к Сараю. В засуху тропа твердая, как кирпич. В засуху тропа усеяна камешками. Он лягнул желтый камень, остроконечный, будто дикарь его навострил для стрелы. Варварский камень, доисторический камень. Детская игра такая — камешек катить. Правила он не забыл. По правилам этой игры камешек, определенный, один и тот же, положено докатить до цели. До калитки, скажем, или до дерева. И он стал играть сам с собой. Цель — калитка, докатить, когда до десяти досчитаю. Первый удар — миссис Манреза (похоть). Второй — Додж (омерзение). Третий — я сам (трус). И четвертый, пятый, шестой — то же самое, то же, то же, то же.

На счете десять он успел к калитке. Там, в траве, свернувшись оливково-зеленым кольцом, лежала змея. Дохлая? Нет, удушенная застрявшей в пасти жабой. Змея никак не могла сглотнуть, жаба никак не могла подохнуть. Судорога сжала ребра, сочилась кровь. Роды наоборот — мерзкая пародия. И — он поднял ногу и на них наступил.

Хрустнуло, осклизло. Белый холст теннисных туфель — липкий, в кровавом крапе. Но это поступок. И ему полегчало. И в кровью крапленных туфлях он зашагал к Сараю.

Сарай, благородный Сарай, Сарай, построенный семьсот лет назад и кому-то навевавший мысль о греческом храме, кому-то о Средневековье, большинству же — о прошлом и едва ли кому-то о настоящем, Сарай был пуст.

Большие ворота были распахнуты. Пыльный луч желтым стягом косо свешивался с крыши донизу. С балок никли гирлянды бумажных роз, оставшихся с коронации. Длинный стол — чайник, тарелки, чашки, пироги, хлеб с маслом — притянулся в одном углу. Сарай был пуст. Мыши шныряли от норки к норке, или они стояли столбиком, что-то грызли. Ласточек занимала забившаяся между балок солома. Несчетные жучки-паучки въедались в сухое дерево. Приблудная сука приспособила темный, уставленный мешками закут для своих кутят. Глаза, глаза, глаза, расширенные, суженные, одни привычные к свету, другие привычные к тьме, глянули под разными углами, из разных углов. И — тишина, только хруст, шелест, шорох. То и дело натекала в Сарай струйка сладости, сочное веяние. Муха

пристроилась к пирогу и бурила его золотистую гору своим коротеньким буром. И роскошествовала капустница, принимая солнечную ванну на золотистой тарелке.

Но миссис Сэндс приближалась. Протискивалась в толпе. Вот — за угол завернула. Увидела, значит, большие распахнутые ворота. Но бабочек, она их в упор не видит, мыши — просто черные катушки в кухонных шкафах, бабочек загребают ладонью и вышвыривают за окно. Суки свидетельствуют исключительно о халатности девчонок-уборщиц. Случись тут кошка — о, ту бы миссис Сэндс заметила: только кошка, голодная кошка с лишайной проплешиной на боку могла отворить шлюзы ее бездетного сердца. Но не было кошки.

Сарай был пуст. И, запыхавшись, торопясь занять свое место возле чайника, пока компания не собралась, миссис Сэндс вбежала в Сарай. И вспорхнула капустница, и муха вспорхнула.

За ней поспешали помощники — Дэвид, Айрин, Джон, Луис. Кипела вода. Клубился пар. Нарезали пирог. С балки на балку перелетали ласточки. Компания собиралась.

— Милый старый Сарай… — Миссис Манреза замерла на пороге. Ей ли проталкиваться через

пейзан? Нет, ей положено дух затаить от красоты Сарая, отойти в сторонку, смотреть и смотреть, и пусть себе другие проходят.

— У нас тоже такой в Лейтоме, копия буквально, — миссис Паркер остановилась из тех же резонов. — Ну разве что, — она прибавила, — чуть-чуть поменьше.

Деревенские останавливались. Потом, с оглядкой, входили.

— А уж украшения… — Миссис Манреза поискала глазами, кого бы за них похвалить.

Стояла, улыбалась, ждала. И вошла старая миссис Суизин. И тоже глянула вверх, но не на украшения, нет. Оказывается, на ласточек.

— Каждый год прилетают, — она сказала, — одни и те же птички.

Миссис Манреза снисходительно улыбнулась над бзиком старушки. Маловероятно, решила она, что птички одни и те же.

— Гирлянды, я полагаю, остались от коронации, — сказала миссис Паркер. — Мы свои тоже оставили. Такой павильон в приходе отгрохали.

Миссис Манреза хмыкнула. Вспомнила. Анекдот на кончике языка вертелся. Как в честь того же события открывают общественный сортир, и мэр… Рассказать? Нет, нельзя. Чересчур у ста-

рухи, озирающей ласточек, благородный вид. «Бла-а-родный» — миссис Манреза скособочила слово, дабы не уронить свой собственный образ — «дитя природы». Уж какая есть, да-с, уж какая есть. Ничего, со старческим бла-ародством мы сладим, да-с, как и с юной шутливостью. Но где же прелестный Джайлз? Что-то его не видно, и Билла тоже. Пейзане все толклись у порога. Ждали, когда кто-нибудь вбросит мяч в игру.

— Ах, до смерти чаю хочется! — возгласила она своим голосом для публичных оказий и шагнула вперед. Завладела тяжелой фарфоровой кружкой. Миссис Сэндс, оказывая, естественно, все свое почтение гостье из благородных, мигом ей налила чаю. Дэвид подал пирог. И пришлось ей первой пить, первой откусывать от пирога. Пейзане все толклись у порога. «Чушь сплошная, все эти разговорчики насчет демократии», — решила миссис Манреза. То же подумала и миссис Паркер и тоже схватила кружку. На них смотрели. Они вели, остальные последовали их примеру.

— Какой дивный чай! — раздавалось вокруг, хоть чай был кошмарный, и если с чем и сравним, то с тщательно прокипяченной ржавчиной, а пирог не пропекся. Но общественный долг превыше всего.

— Они каждый год прилетают, — повторяла миссис Суизин, оставляя без внимания тот факт, что говорит в пустоту. Как прилетали, она полагала, еще когда Сарай был болотом.

Сарай заполнялся. Поднимались пары. Стучали кружки, жужжали голоса. Айза протискивалась к столу.

— Нас разбросало, — пробубнила она. И протянула под струю свою кружку. Приняла кружку. — Бежать, бежать, — она бубнила, — сквозь этот строй, — она сиротливо озиралась, — бежать скорее той тропой, что мимо дуба, мимо ивы выводит на поток счастливый, куда когда-то прачки сын… — положила сахар, два кусочка, — бросил булавку. Говорят, коня получил. Ну а я — какое бы мне задумать желание, бросая булавку в счастливый поток? — Она озиралась. Что-то его не видно, человека в сером, помещика, вообще никого знакомых. — Чтоб воды покрыли меня, — она прибавила, — воды того потока.

Стук фарфора и гул голосов глушили ее бормотание. «Сахару?», «Чуть-чуть молока?», «Мне без молока и без сахару, я всегда так пью», «Не слишком крепко? Давайте подбавим воды».

— Вот ведь что бы я загадала, — вспомнила Айза, — бросая свою булавку. Воды. Воды…

— Надо признать, — жужжал голос рядом, — король с королевой молодцом. Говорят, собрались в Индию. Она изумительно выглядит. А у него волосы, один мой знакомый рассказывал…

— Туда, — звенело в голове у Айзы, — и мертвый лист падет, когда падет листва, — на воду. И что с того, что больше не увидеть мне ни дуба, ни березы? И не услышать, как дрозд поет на ветке, не увидеть, как желтый дятел, по волнам воздуха плывя, то вдруг нырнет, то вынырнет опять?

Она оглядывала канареечно-желтые гирлянды, оставшиеся с коронации.

— По-моему, речь шла о Канаде, не об Индии, — говорил голос сзади.

И другой голос отвечал:

— И вы верите газетам? Вот насчет герцога Виндзорского, например. Он высадился на южном побережье. Его встречала королева Мэри. Да она мебель покупала — это факт. А в газетах пишут, якобы она его встречала…

— Одной, под ивой, под сонной ивой, которой снится шелест моря и цокот конника в дозоре…

Айза уловила конец фразы. Потом она вздрогнула. Рядом стоял Уильям Додж.

Он улыбался. Она улыбалась. Они были в тайном сговоре, каждый бормотал песни своего

любимого дядюшки.

— Все эта пьеса, — сказала Айза. — Такие привязчивые слова.

— Привет тебе, прекрасная Каринтия! — продекламировал Додж.

— Моя любовь! Мой повелитель! — Айза склонила голову в ироническом поклоне.

Красивая, он думал. Увидеть бы ее не рядом с этим чайником, рядом с белой лилией и виноградною лозой увидеть эти зеленые глаза, широкий стан и шею как колонна. И хорошо б она сказала: «Пойдемте. Я вам покажу оранжерею, и хлев, и конюшни». Но ничего она такого не говорила, и они стояли рядом, держали чашки, вспоминали пьесу. Но вот он увидел, как лицо у нее изменилось, будто она сняла одно платье и надела другое. Маленький мальчик пробивался в толпе, сквозь юбки, брюки, как плыл вслепую.

— Сюда! — Она крикнула и подняла руку.

Тот мигом метнулся к ней. Ее сынишка, значит, ее маленький, ее Джордж. Она дала ему пирога, потом кружку молока. Далее возникла няня. И вот опять она переоделась. На сей раз, по глазам судя, во что-то вроде строгого пиджака. Пышноволосый, мужественный, красивый молодой человек в синем пиджаке с медными пуговицами

стоял в пыльном луче — ее муж. И она — его жена. Отношения у них, он еще за ленчем заметил, как пишут в романах, «сложные». А во время пьесы, он видел, она нервно подняла голую руку к плечу, оглянулась и — кого же искала? Но вот он — явился. И, мускулистый, пышноволосый, мужественный, вверг его в пучину чувств, в каких не властен разум. Он забыл про то, как бы там она выглядела в оранжерее, на фоне лилии, на фоне виноградной лозы. Он смотрел только на Джайлза, смотрел и смотрел. О ком он думает, отворотив лицо? Не об Айзе, нет. О миссис Манрезе?

Миссис Манреза прошла вглубь Сарая и сглотнула свой чай. Как бы теперь отвертеться, она себя спрашивала, от этой миссис Паркер? Когда они из твоего собственного круга, какую тоску они наводят — бабы, то есть! Те, что попроще, еще ничего — поварихи, жены лавочников, фермеров, ну и высшие — жены пэров, герцогини, а от баб твоего собственного круга — тоска, спасу нет. И она взяла и бросила эту миссис Паркер.

— Ах, миссис Мур, — окликнула жену лесника, — ну и как вам? А маленькому как? понравилось? — щипнула маленького. — По-моему, в точности как все, что я видела в Лондоне, один к одному… Но мы же держим марку! Нам же пода-

вай собственную пьесу. В собственном Сарае! Уж мы им покажем… — Она покосилась на стол, пирожные чуть не сплошь покупные, всего ничего домашних. — …где раки зимуют!

Отмачивая свою шутку, она озиралась, завидела Джайлза, поймала его взгляд и взглядом его подманила. Он подошел. Но что это — она глянула вниз — он со своими туфлями сотворил? Все в пятнах крови. Мелькнуло туманно, что так он доказал свою доблесть ее одобрения ради, смутно польстило. Туманно, но, ах, как приятно мелькнуло. И, беря его на буксир, она чувствовала: я королева, он мой рыцарь, мой суровый герой.

— А вот и миссис Нил! — Она крикнула. — Вы просто чудо, да, миссис Нил? На ней вся наша почта держится, на миссис Нил. Она все в уме считает, правда, миссис Нил? Двадцать пять марок по полпенса, две пачки конвертов с марками и пачка открыток — на сколько это потянет, а, миссис Нил?

Миссис Нил хохотала, миссис Манреза хохотала, улыбнулся и Джайлз, оглядывая свои туфли.

Она таскала его за собой по Сараю, от одного к другому. Она всех тут знала. Все сплошь — прелесть что за люди. Нет, она и слышать не хочет про больную ногу Пинсента. «Нет-нет, мы ваших

отговорок не принимаем, Пинсент». Не можешь подавать — можешь стоять в воротах. Джайлз был с ней совершенно согласен. Ровно тем же, чем для Пинсента, была для него рыба на крючке, и сороки, и сойки. Пинсент остается здесь, Джайлз ездит на службу. Вот и все различие. А она роскошная баба, с ней меньше себя чувствуешь зрителем, больше действующим лицом, кружа по Сараю у нее на буксире.

Наконец, у самого выхода, они наткнулись на старую парочку, на Люси с Бартоломью, которые сидели в виндзорских креслах.

Им оставили кресла. Миссис Сэндс им послала чай. Слишком было бы хлопотно, да и труда не стоило — утверждая принципы демократии, топтаться в толпе у стола.

— Ласточки, — говорила Люси, держа чашку и глядя на птиц. Возбужденные обществом, те перепархивали с балки на балку. Через Африку, через Францию они прилетали, чтобы здесь угнездиться. Год за годом они прилетали. Когда еще не было здесь никакого канала, когда земля, на которую поставили виндзорские кресла, вся клубилась рододендронами и колибри дрожали над багровыми жерлами, как утром она читала в «Очерках истории», и тогда они прилетали… Но

Барт вдруг поднялся с кресла.

Миссис Манреза ни за что не хотела садиться.

— Сидите-сидите, — и прижала его плечо. — А я на корточках посижу. — И села на корточки. Суровый герой верно остался стоять подле. — Ну и как вам пьеса? — спросила она.

Бартоломью посмотрел на сына. Сын молчал.

— А вам, миссис Суизин? — наседала миссис Манреза на старую даму.

Люси что-то бормотала, глядя на ласточек.

— А я-то думала, вы мне скажете, — не сдавалась миссис Манреза. — Это старинная пьеса? Или современная?

Никто не отвечал.

— Смотрите! — вскрикнула Люси.

— Птицы? — Миссис Манреза вскинула взор.

Ласточка держала в клюве соломинку, и соломинка выпала.

Люси захлопала в ладоши. А Джайлз двинулся прочь. Ей бы все смеяться, над ним потешаться, тетке.

— Идем? — сказал Бартоломью. — Пора на второй акт?

Он тяжко высвободился из кресла. Даже не глянув на миссис Манрезу и на Люси, потащился к выходу.

— «Ласточка, милая моя сестрица»[28], — пробубнил, нашаривая сигару, идя вслед за сыном.

Миссис Манреза клокотала. И зачем на полу уселась как дура? Или чары уже не те? Ушли, ушли оба. Но, как женщина предприимчивая, она не собиралась, раз мужчины ее бросили, терпеть пыточную скуку с этой бла-ародной старушенцией. И она встала и подняла руки к волосам, будто ей — ну срочно понадобилось бежать, притом что бежать никуда не требовалось, а прическа была — волосок к волоску. Коббет из своего угла наблюдал эти штуки. Он на Востоке насмотрелся на натуру человеческую. На Западе — все то же самое. То ли дело *цветы* — гвоздика, цинния, герань. Он глянул на часы, прикинул время до семи, до поливки, и продолжал наблюдать штуки бабы, которая ведь как миленькая потащится за мужчиной к столу, — все они одним миром мазаны, что на Востоке, что на Западе.

Стоя у стола между Айзой и миссис Паркер, Уильям смотрел, как подходит суровый герой. Собой прекрасен, могуч и властен, поспешает на бой, на бой, на помощь друзьям, друзьям, на погибель врагам — пошлый марш звенел у него в

[28] Примечания: 28

Первая строка стихотворения *Алджернона Чарлза Суинберна* (1837–1909) «Итис» (пер. Г. Кружкова).

мозгу. И Уильям сжал пальцы на левой руке, изо всех сил, суеверно.

Миссис Паркер, понизив голос, пеняла Айзе за местного идиота.

— Ах, этот идиот! — говорила она. Но Айза, не шевелясь, глядела на мужа. Так и чувствовала, как за ним тащится эта Манреза. Так и слышала выяснение отношений в сумеречной спальне. Ах, не играет роли его неверность, теперь важнее — моя.

— Идиот? — Уильям за нее ответил миссис Паркер. — Но тут традиция,

— Нет, ну правда, — и миссис Паркер поделилась с Джайлзом тем, как из-за идиота — «у нас свое нещечко есть в нашей деревне» — у нее буквально мурашки по коже. — Нет, ну правда, мистер Оливер, мы же слишком для этого цивилизованные люди!

– *Мы?* — эхом откликнулся Джайлз. — *Мы?* — и глянул на Уильяма, глянул вскользь. Он не знал, как того зовут, но заметил, что выделывает его левая рука. Просто повезло — можно на кого-то злиться, вместо самого себя. И на эту миссис Паркер. Но не на Айзу, нет — не на жену. Она ни слова ему не сказала. Ни полслова. Даже и не взглянула.

— Нет, ну правда, — миссис Паркер перебегала взглядом с одного лица на другое, — мы же цивилизованные люди?

Тут Джайлз проделал свой маленький трюк — уж Айза-то наизусть его выучила, сжал зубы, набычился, встал в позу: несу на себе все скорби мира, зарабатывая деньги, чтоб жена их могла мотать.

— Нет, — сказала Айза, всем своим видом сказала, откровенней некуда, — не нравишься ты мне, — и посмотрела, не в глаза ему, на туфли ему посмотрела. — Глупый мальчишка с кровью на туфлях.

Джайлз переступал с ноги на ногу. Так кто же тогда ей нравится? Не Додж. Еще не хватало. Но кто? Кто-то, кого я знаю. Кто-то здесь, в Сарае, да, определенно. Кто же? Джайлз озирался.

Тут принесло мистера Стретфилда, духовную особу. С кружками в охапке.

— Душой жму вам руки! — возгласил он, склоняя благолепные седины и осторожно высвобождая посуду.

Миссис Паркер приняла галантность пастыря на свой счет.

— Мистер Стретфилд! — простонала она. — Делает всю работу! А мы тут болтаем!

— Оранжерею хотите посмотреть? — Айза вдруг повернулась к Уильяму Доджу

Только не сейчас! — чуть не крикнул он. Но пришлось ему идти, оставив Джайлза на приближающуюся Манрезу, которая его полонила.

Тропа была узкая. Айза пошла вперед. Она-то была широкая, всю тропу занимала, и слегка раскачивалась на ходу, и отщипывала там листок, там веточку с изгороди.

— Со мной, со мной, — она бубнила, — под этой сенью стойте тихо, вы, лань с оленем, лось с лосихой. Нет, мчите прочь, я здесь останусь, сама не рада. У той поваленной ограды я травы горькие сорву, листочки липкие сомну…

Отшвырнула метелку ломоноса, которую подобрала на ходу, пнула дверь оранжереи. Додж отстал. Она ждала. Взяла с лавки нож. Так он ее увидел — на фоне стеклянной стены, смоковниц, голубой гортензии, а в руке — нож.

— И молвила она, — бубнила Айза, — клинок блестящий из белой груди извлекая. Рази, клинок! — сказала, и — опять клинок вонзила! Неверный! — Она вскричала. — И нож мне изменил! Сломался. Как сердце мое сломалось, разбилось.

Она иронически усмехалась ему навстречу.

— Хоть бы уж она от меня отвязалась, эта пьеса. — И села на скамью под виноградной лозой. И он сел рядом. Гроздья над ними были зеленые, жалкенькие; листья желтые, беспомощные, как пушок на птичьих лапках.

— Все не отвяжется? — Он спросил. Она кивнула. — Это сын ваш был? — Он сказал. — В Сарае?

— У нее еще и дочь есть, — сказала она. — В колясочке. А вы женаты? — спросила Айза.

По тону ее он понял, что она догадалась. Женщины всегда догадываются. Сразу чуют, что им нечего бояться, не на что надеяться. Сначала им обидно торчать как статуи в оранжерее. Потом входят во вкус. Можно брякать (вот как она сейчас) что в голову взбредет. И дарить ему (вот как она сейчас) цветы.

— Вот вам, вставьте себе в петлицу, мистер… — Она ему подала пахучую веточку герани.

— Просто Уильям, — сказал он, принимая дар и сминая в пальцах шерстистый листик.

— А я — Айза, — ответила она.

И они стали болтать, будто всю жизнь знакомы; и это странно, она сказала (они всегда говорят), — учитывая, что она всего час назад с ним познакомилась. Но ведь они заговорщики, правда, искатели потаенных лиц? После этого

признанья она помолчала, потом стала удивляться (они всегда удивляются), почему им так легко и просто друг с другом.

И предположила:

— Потому, наверно, что мы никогда раньше не встречались и больше никогда не увидимся.

— Смерть может вдруг смешать все карты, — сказал он. — Ни вперед, ни назад ходу нет, — он думал про старушку, которая ему дом показывала, — что им, что нам.

Будущее наползало тенью на убегающий миг, как вот лист пропитало солнце, высветив плетево жилок, не сопряженных в узор.

Дверь они оставили открытой, и теперь в нее залетали ноты. До-ре-ми-фа-соль, до-ре-ми-фа-соль, до-ре-ми-фа-соль — кто-то твердил гаммы. Потом отдельные звуки сложились в слово «трон». Оно сошлось с другими словами. Мелодия была простенькая — как детская песенка.

Где король? На троне
Пишет манифест.
Королева в спальне
Хлеб с вареньем ест.[29]

---

[29] Примечания: 29
Птицы в пироге (пер. С. Маршака).

Они слушали. Второй голос, третий голос напевал что-то простенькое. И, сидя в оранжерее, на скамье, в виноградной тени, они слушали, как мисс Ла Троб, или кто там еще, твердит гаммы.

Он так и не нашел сына. Потерял в толпе. А потому старый Бартоломью ушел из Сарая и пошел к себе, держа сигару и бубня:

Ласточка, милая моя сестрица,
Как твое сердце с весной мирится?[30]

— А как мое сердце может с весною мириться? — спросил он вслух, останавливаясь перед книжным шкафом. Книги — сокровища бессмертных умов, сбереженные для потомства[31]. Поэты — законодатели рода человеческого[32]. Кто спорит. Но Джайлз несчастлив. «Как мое сердце, как мое сердце», — повторил он, пыхнув сигарой. — «Что благородней духом? Покоряться пращам и стрелам яростной судьбы…» — подбочась, стоял

[30] Примечания: 30

Мистер Оливер продолжает то же стихотворение Суинберна (пер. Г. Кружкова).

[31] Примечания: 31

Перефразированная мысль из «Ареопагитики» Джона Мильтона.

[32] Примечания: 32

Ср.: «Поэты суть тайные законодатели рода человеческого». *Перси Биши Шелли*. Защита поэзии (1821). Мистер Оливер, как всегда, перевирает цитату.

перед своим сельским джентльменским набором. Гарибальди, Веллингтон, Летописи ирригационного общества и Гибберт — о лошадиных болезнях. Человеческий разум собрал неплохой урожай, но на черта, на черта, зачем мне это все — когда мой сын…

— Зачем, зачем, — он рухнул в кресло, бубня: — Зачем, зачем… И как твое сердце с весной мирится?

Процокавший за ним коготками пес плюхнулся на пол в ногах у хозяина. Ходят бока, длинный нос уткнут в лапы, в одной ноздре капля пены, — добрый дух и защитник, Зораб.

Дверь дрогнула на блоке, осталась приотворенной. Такая у Люси манера входить — будто она не знает, что ее ожидает в комнате. Ах! Скажите пожалуйста! Барт! И Зораб! Можно подумать — первый раз в жизни их увидела. Или у нее тела нет вовсе? Воздушным шаром паря в облаках, ее разум время от времени с испугом ударяется оземь. Нет в ней этого веса, какой, скажем, Джайлза гнетет к земле.

Села на краешек стула, как птичка на телеграфный провод присаживается — перед дорожкой в Африку.

— Ласточка, милая моя сестрица… — промур-

лыкал он.

Из сада — в распахнутое окно — долетали чьи-то скучные гаммы. До-ре-ми, до-ре-ми. Потом отдельные звуки сложились в слово «стая». Потом во фразу. Простенькую мелодию подхватил голос.

Лают собаки!
В город во мраке
Идет попрошаек стая —
Кто в рваной одежде,
Кто в драной рогожке,
Кто в бархате и горностае.[33]

Потом песенка потянулась, растянулась, стала вальсом. И они слушали, они смотрели — в окно — а деревья раскачивались, и плясали птицы, будто кто-то, оторвав от частных забот, от личных дел, им велел пособить музыке.

Огонь любви горит высокой,
Над темною рощею горит,
Горит высокой он и ясный,
Как в небе ясная звезда…

Старый Бартоломью отбивал такт пальцем у

---

[33] Примечания: 33
Английская детская песенка (пер. С. Маршака).

себя на коленке.

Покинь свой терем, моя отрада,
Я жду тебя, я жду тебя…

Он насмешливо поглядывал на Люси, сидевшую на краешке стула. Интересно, и как ей детей удалось родить?

Все пляшут, все танцуют,
Кузнечик, стрекоза…

Она, наверно, думает, что Бог есть покой, думал Бартоломью. Бог есть любовь. Потому что она — из объединителей, я — разъединитель.

Потом мелодия, топчась на месте, сделалась приторной, пресной, плешь в голове проела назойливым этим призывом к вечной любви. Что ли — он не силен в музыкальных терминах — перешла в минорный ключ?

Пляски, песни, щебет, грай,
Светлый, ясный месяц май,
Года светлое начало,
Все пройдет, как не бывало.

Он отстукивал такт пальцем по колену.

Травы скосят,
Хлеб сожнут,

Всё пройдет, и все пройдут.
И зима настанет,
Реки лед затянет,
А дрова в камине
Выгорят дотла,
Зола, зола, зола —
И жара нет в полене.

Он вытряхнул пепел из трубки, поднялся.

— Надо так надо, — сказала Люси, будто он вслух сказал: «Пора идти».

Зрители стекались. На зов музыки. Снова спешили по тропам, по лугам, напрямки. Миссис Манреза возглавляла процессию в сопровождении Джайлза. Тугими круглыми складками реял шарф вокруг ее плеч. Поднялся ветер. Она шла под гром граммофона, легким, плывущим шагом, как богиня с рогом изобилия, наполненным до краев. Бартоломью шел следом, благословляя свойство человеческой плоти делать наш мир плодоносным. Джайлз останется на орбите, покуда она ему заменяет закон тяготения. Даже зеленую ряску его собственного старого сердца она сумела расколыхать, лужу, где захоронены старые кости, и стрекозы звенят и дрожит трава, когда миссис Манреза плывет через луг под гром

граммофона.

Хрустел под ногами гравий. Трещали голоса. А другой голос, внутренний голос увещевал: зачем отрицать, что эта бравая музыка, летящая из-за кустов, задевает в нас тайные, сладкие струны? «Только проснешься, — думали некоторые, — день на тебя обрушивается кувалдой». «На службе, — думали некоторые, — ты человек подневольный. Туда-сюда, туда-сюда — гоняет звонок. Дзинь-дзинь-дзинь — дребезжит телефон. Вперед! Служить! — служба есть служба. Изволь подчиняться идиотским приказам начальства всю жизнь напролет. Слушаться. Исполнять. Покоряться. Работать, работать, работать, выслуживаться, стараться, толкаться, лезть вон из кожи, отрабатывать жалованье, чтобы тратить — сейчас же? О господи, нет. И здесь? Нет, но где-то, позже когда-нибудь. Когда рак свистнет. Когда уши заложит, иссохнет сердце».

Коббет из Коббс-корнер нагнулся — цветок разглядеть — но толпа на него напирала сзади.

Вот я слышу музыку, думал каждый. Музыка будоражит. Музыка дает откопать зарытое, склеить разбитое. Прочищает глаза и уши. Ты только погляди на цветы, как они сияют лиловым и белым, отливают серебряным. А деревья — всеми

листочками сразу, ах, как же они нас листают, тасуют, сдают — каждого — всем, и заклинают слететься, как грачи и стрижи, и толпиться, тесниться, лепиться, болтать, веселиться, пока рыжие коровы переступают по лугу, а черные коровы стоят себе тихо.

Зрители пробирались к своим местам. Кто-то сел, кто-то еще постоял, любуясь видом. Сцена оставалась пустой, актеры переодевались в кустах. Зрители уже ерзали, вертелись, переговаривались. Обрывки и клочья долетали до мисс Ла Троб, которая с рукописью в руках стояла у березы.

— Они там не готовы еще… Я слышу, смеются… — Такой шел у них разговор. — Наряжаются там. Великое дело — костюм. Полегчало, да? Солнце вроде не так печет… Одна радость от этой войны — дни стали длиннее… Да, так на чем мы остановились? Не помните? На елизаветинцах… Может, она и до наших дней доберется, если кое-что выпустит… Как по-вашему, — люди меняются? Моды — само собой, это понятно, а вот мы сами? Я недавно шкаф разбирала, старый папин цилиндр нашла… Нет, но мы сами — меняемся? Вот вопрос.

— А, да ну их, политиков. У меня один знакомый

в России был. Так он говорит… А у меня дочка только что из Рима, так она говорит, простые люди, в кафе, ненавидят диктаторов… Ах, кто одно говорит, кто совсем другое…

— А вы видели в газетах — эту историю про собаку? И вы поверите, что есть суки, у которых не бывает щенков?.. А королева Мэри и герцог Виндзорский на южном берегу?.. И вы еще верите газетам?.. Да я лучше спрошу у мясника, у зеленщика спрошу… Ой, мистер Стретфилд охапку тащит… Хороший священник, я вам доложу, работает больше, а денег получает меньше иных прочих… Вся беда от этих жен…

— А евреи? Эти беженцы… Эти евреи… Те, кому, как вот нам с вами, пришлось хлебнуть… А-а, вечно одно и то же… Моей маме за восемьдесят, так она еще помнит… Да-да, и читает без очков… Да что вы! Да неужели? Но ведь говорят, что после восьмидесяти… Ой, идут… Нет-нет, я так, я ничего… Я бы штрафовала, кто мусор оставляет, но тогда, мой муж говорит, кто штрафы будет собирать?.. А-а, вон она, мисс Ла Троб, за березой стоит…

Там, за березой, мисс Ла Троб скрежетала зубами. Терзала рукопись. Артисты мешкали. Того гляди — публика сорвется с поводка, рассыплется

на обрывки и клочья.

— Музыка! — Она подала знак. — Музыка!

— А почему говорят, — интересовался кто-то, — «дама с мухами в носу»? Откуда это пошло?

Повелительно опустилась рука мисс Ла Троб.

— Музыка! Музыка!

И граммофон завел до-ре-ми, до-ре-ми, до-ре-ми.

Где король? На троне
Пишет манифест.
Королева в спальне
Хлеб с вареньем ест…

Мисс Ла Троб смотрела, как старая детская песенка баюкает их. Мирно, уютно сложились руки, опустели и разгладились лица. Она подала знак. И наконец-то, насилу управившись с капризным головным убором, Мейбл Хопкинс вышагнула из кустов и заняла место на возвышении перед публикой.

Глаза жадно ели ее — так рыба всплывает на хлебный мякиш. Кто это? Что собой олицетворяет? Красивая — очень даже. Щеки напудрены, но сквозь пудру нежно сияет румянец. Серое атласное платье (постельное покрывало), падая каменными складками, ей сообщает торжествен-

ность статуи. В одной руке держит скипетр, в другой маленький мячик державы. Англия, что ли? Или королева Анна? Кто это? Сначала она очень тихо заговорила, только они и расслышали, что

…разум в стороне.

Старый Бартоломью захлопал в ладоши.

— Внимание! Внимание! — Он крикнул. — Браво! Браво!

Таким образом поощренный, Разум возвысил голос.

Время, опершись на косу, стоит и смотрит. Торговля между тем из рога изобилья свою ссыпает золотую дань. На дальних копях дикари потеют, глина нам дарит расписной кувшин. По моему хотенью воин свой щит слагает, язычник оставляет свой алтарь, дымящийся от крови жертвы нечестивой.

Роза и фиалка сплетаются в один венок. Беспечный путник отныне может змеи смертельного укуса не страшиться. И в шлеме боевом свивают улей пчелы.

Она умолкла. Сзади, под деревьями — гуськом ходили взад-вперед, взад-вперед деревенские.

Мы тропы пролагаем, в долине строим дом, —

они пели, но ветер сносил слова.

Под сенью реющих моих одежд, — она распростерла руки, — *изящные искусства процветают. Музыка для меня бессмертную гармонию струит. По моему хотенью скряга нетронутой кубышку отставляет, мать мирно смотрит, как резвятся дети… резвятся дети…*

Она повторила, и, по мановению скипетра, несколько фигур явилось из-за кустов.

Цветет подлунный мир, Зефир струит эфир, и нимфа пляшет с пастушком, играет в вешнем поле, и весь воздушный океан моей послушен воле.

Граммофон грянул бодрую старинную песенку. Старый Бартоломью сложил ладони крышей, миссис Манреза оглаживала у себя на коленях юбку.

Молил Дэмон у Синтии:
Приди ко мне с рассветом,
Покой сошел на Англию,
Ну как не знать, ну как не знать,
Ну как не знать об этом.
И разум правит нами.

С печальной ночи снами
Простись! О, ночь прошла давно,
Приди ко мне с рассветом!

Мы цветы сбираем, мы венки сплетаем, —

пели деревенские, гуськом проходя под деревьями, — *зима ли, лето, все едино… опять зима, и снова лето; мы дома возводим, пролагаем тропы… плодимся, размножаемся, растем и умираем… а время все идет, идет, идет, идет…*

Ветер сносил слова.

Музыка смолкла. Нимфы и пастушки ретировались. Разум одиноко держал площадку. Распростерши руки со скипетром и державой, в реющих одеждах, Мейбл Хопкинс смотрела величаво — куда-то, мимо публики, поверх голов. Публика пожирала ее глазами. Она никого не замечала. И пока она так смотрела мимо публики, служители, вылезшие из-за кустов, устраивали вокруг нее нечто вроде комнаты о трех стенах. Посредине поставили стол. На стол поставили фарфоровый чайный сервиз. Разум недвижно, с гордой своей высоты, озирал эту сцену домашности. На сцене царило молчанье.

— Другая сцена из другой пьесы, как я понимаю, — сообразила миссис Элмхерст, справясь с

программкой. И прочитала громко — для своего мужа, он был глух: — «Была бы воля, путь найдется». Это название. А действующие лица… — она громко читала, — «леди Гарпия Карган, влюбленная в сэра Спаниеля Сюсюлли. Деб, ее горничная. Флавинда, ее племянница, влюбленная в Валентина. Сэр Спаниель Сюсюлли, влюбленный в Флавинду. Сэр Мирвам, духовное лицо. Леди и лорд Лежебоки. Валентин, влюбленный в Флавинду». Какие странные у них у всех фамилии! Ой, смотри — вот и они!

Выходили из-за кустов — мужи в цветистых камзолах, в белых камзолах, в туфлях с пряжками, дамы во взбитой, складчатой парче, орденские звезды из стекла, голубые ленты из гаруса, поддельный жемчуг — ну типичнейшие лорды и леди.

— «Сцена первая, — шипела миссис Элмхерст мужу в самое ухо, — в будуаре леди Карган…» Это, значит, она… — показала пальцем, — миссис Оттер, по-моему, с околицы, но как разнаряжена, ну ты. А это Деб, горничная. А кто такая, хоть убей, и не разберу.

— Ш-ш, ш-ш, — не выдержал кто-то.

Миссис Элмхерст уронила программку на колени. Началось действие.

Леди Гарпия Карган входит в свой будуар в сопровождении горничной.

Леди Г.К. Подай сюда духи. И мушки. Зеркало подай. Так. Теперь парик… Чума возьми девчонку — заснула, что ли!

Деб. Я думаю, барыня, про то, что говорил тот господин, как вас увидел в парке.

Леди Г.К. *(глядится в зеркало)*. Ну и что он такое говорил? Что нес? Бредни какие-то. Стрела Амура — ха-ха-ха! — зажгла его факел — хм! — от моего взора! Когда это было! Уж двадцать лет тому… А теперь — как-то он теперь заговорит? (*Глядится в зеркало.*) То есть Спаниель Сюсюлли…

Стук в дверь.

Ба! У ворот его коляска! Беги, дитя! Полно тебе зевать!

Деб (*идет к двери*). Заговорит? Да он будет языком молотить, как работник на гумне. Никак слов для вас не подберет. Уставится как баран на новые ворота… Да вот и он, к вашим услугам, сэр Спаниель.

Входит сэр Спаниель Сюсюлли.

Сэр С.С. Привет тебе, мой нежный ангел! Как, уж

на ногах, чуть свет? По Мэллу[34] идучи, подумал я, что свет сегодня ярче, чем обыкновенно… Вот что тому причиной… Венера, Афродита, да что! Галактика! Плеяды! О, пускай я грешен, но вы — сама Аврора Бореалис! (*Взмахивает шляпой.*)

Леди Г.К. О, льстец, ох и льстец! Уж я ухватки ваши знаю. Но заходите же. Садитесь… Стаканчик аквавиты. Сядьте, сэр Спаниель. Мне нужно с вами кое о чем переговорить, об очень важном деле… Получили вы мое письмо, сэр?

Сэр С.С. Ношу его на сердце! (*Бьет себя в грудь.*)

Леди Г.К. Мне надобно, сэр Спаниель, просить вас об одной услуге.

Сэр С.С. (*поет*). В какой услуге откажет прекрасной Хлое верный Дафнис? Впрочем, оставимте стихи. Бог с ними, со стихами. Будем изъясняться презренной прозой. Чего угодно Асфодилле от верного слуги Сюсюлли? Говорите же, ваше совершенство. Чего-то эдакого, чтоб обезьянка с кольцом в носу иль рослый юный вертопрах рассказывал про нас, когда нас уж не будет в этом мире?

Леди Г.К. (*играя веером*). Фи, фи, сэр Спаниель, вы меня в краску вгоняете. Нет, ну правда. Од-

---

[34] Примечания: 34
Улица в центральной части Лондона.

нако подойдите ближе. (*Подвигается поближе к нему*.) Мы ведь не хотим, чтоб нас слушали все кому не лень.

Сэр С.С. (*в сторону*). Поближе? Чума на мою голову! Старая карга воняет, как селедка, вниз головой стоявшая в смоленой бочке! (*Вслух*.) Я слушаю, прелестнейшая. Что вы хотите мне сказать?

Леди Г.К. Есть у меня племянница, сэр Спаниель, по имени Флавинда.

Сэр С.С. (*в сторону*). Ого, та самая барышня, в которую я влюблен! (*Вслух*.) У вас есть племянница, вы говорите? Да, что-то я такое слышал, помнится. Единственное дитя, оставленное братом вашим на руках вашей светозарности. Когда брата вашего поглотило море.

Леди Г.К. Истинно так, сэр Спаниель. Теперь она вошла в пору, и самое время ее выдать замуж. Я обвила ее, как шелкопряд, печальным саваном невинности, сэр Спаниель. Она окружена одними горничными, и никого мужчин, насколько мне известно, кроме Клаута, слуги, да и у того бородавка на носу и рожа что твоя терка. Какой-то болван, однако ж, изловчился снискать ее симпа-

тию. Какая-то там мошка и пичужка[35]. Какой-то Гари, Дик, зовите как хотите.

Сэр С.С. (*в сторону*). Это юный Валентин, я нимало не сомневаюсь. Я видел, как они вместе забавлялись. (*Вслух.*) О, что вы говорите?

Леди Г.К. Она собой не до того дурна — красота у нас в роду — чтоб господин с вашим воспитанием и вкусом не мог отнестись к ней со снисхождением.

Сэр С.С. Если бы не ваше наличие, миледи. Глаза, видевшие солнце, не ослепляются более скромными светилами — Кассиопеей, Альдебараном, Большой Медведицей, ну и тому подобное. Плевать на них на всех, коль в небе светит солнце!

Леди Г.К. (*строит ему глазки*). Вы воспеваете моего парикмахера, сэр, или мои подвески?

Сэр С.С. (*в сторону*). Звякает, как ослица на ярмарке! Разряжена, как рождественская елка. (*Вслух.*) И вам угодно мне повелеть, ваше совершенство?

Леди Г.К. Да, сэр, именно так. Братец Боб, ибо отец мой, будучи простым помещиком, не терпел затейливых имен, какие понавезли к нам иноземцы, — вот я себя хоть и называю Асфодилла,

---

[35] Примечания: 35

Ср. У Шекспира: «Повинны в том же мошки и пичужки». Король Лир. Акт 4. сц. 4 (пер. Б. Пастернака).

а крещена-то простецким именем Сью, — братец Боб, я говорю, бежал за море, и даже, говорят, стал императором Индии, а там дороги мощены яхонтами да смарагдами. Которые, поскольку не бывало на свете более доброго сердца, он бы непременно приволок домой, дабы поправить дела семейства, сэр. Однако бриг, фрегат, ну я не знаю, как там их называют, эта морская тарабарщина сразу вылетает у меня из головы, его корабль, одним словом, который канаву не пересечет, бывало, не сказавши «Отче наш» вдоль и поперек, разбился об утес. И бедного Боба поглотил кит. Но колыбельку, благодаренье Господу волнами вынесло на берег. С малюткой, стало быть, с Флавиндой. И, что еще важнее, с волей, в полной сохранности, спеленутой в пергамент. С последней волей братца Боба. Деб! Сюда! Деб, я говорю! (*Громко зовет Деб.*)

Сэр С.С. (*в сторону*). Ха-ха! Запахло жареным! Последняя воля, скажите пожалуйста! Была бы воля, путь найдется!

Леди Г.К. (*вопит*). Последняя воля, Деб! В эбеновой шкатулке, направо на бюро против окна… Чума на девку! Спит на ходу! И все романы, сэр Спаниель, все эти романы. Видит, свечка оплыла — нет, это ее сердце горит и тает. Фитиль не

может загасить, покуда всех имен в амурном календаре не перечтет.

Деб входит с пергаментом в руке.

Так… Подай сюда. Вот она, последняя воля братца Боба. (*Бормочет над завещанием.*) Короче говоря, сэр Спаниель, ибо у этих крючкотворов даже и в антиподах речи слишком длинны…

Сэр С.С. Равно как их уши…

Леди Г.К. Истинно так, истинно так. Короче говоря, сэр Спаниель, мой братец Боб все свое достояние оставил единственной своей дочери Флавинде; с одним условием, однако, заметьте себе это. Что она вступит в брак с соизволенья тетушки. Тетушки ее, а это — я. В противном случае, заметьте себе это, все, то есть — десять бушелей алмазов, плюс столько же рубинов, плюс двести квадратных миль плодородных земель к северо-северо-востоку от Амазонки, плюс его табакерка, плюс его флажолет — ах, как он любил музыку, сэр Спаниель, мой бедный Боб, плюс шесть попугаев ара и наложниц, сколько было у него в наличии ко времени кончины, — все это, кроме не стоящего упоминанья мелкого вздора, если она вступит в брак без соизволенья тетушки, все пойдет на возведенье храма, сэр Спаниель, где

шесть бедных дев будут до скончания века петь псалмы ради упокоения его души — что, по совести сказать, сэр Спаниель, весьма не помешает братцу Бобу, который шатался по Гольфстриму и снюхался с сиренами. Да вот, читайте сами, сэр.

Сэр С.С. (*читает*). «Понеже вступит в брак с соизволенья тетушки». Яснее ясного.

Леди Г.К. Тетушки. А это я. Яснее ясного.

Сэр С.С. (*в сторону*). Тут карга не врет! (*Вслух.*) И я смею заключить, любезнейшая…

Леди Г.К. Ш-ш! Подойдите ближе! Я вам на ушко шепну… Мы с давних пор составили благоприятное сужденье друг о друге, сэр Спаниель. Играли в мячик. Сплетали руки вместе венками из ромашек. Если я верно помню, вы меня звали своей маленькой невестой… тому назад полвека. А стало быть, сэр Спаниель, ежели фортуне будет угодно… вы меня поняли, сэр Спаниель?

Сэр С.С. Да будь это начертано огромными золотыми письменами, видимыми от собора Святого Павла до сельской глуши, и то не могло бы быть ясней… Ш-ш. Я перейду на шепот. Я, сэр Спаниель Сюсюлли, беру тебя… ну как зовут девчонку, которую вынесло на берег в верше для омаров, оплетенной водорослями? Флавинда, э? Флавинду, стало быть, себе в жены… ах, крючкотвора бы

сюда, все это записать!

Леди Г.К. При одном условии, сэр Спаниель.

Сэр С.С. При одном условии, Асфодилла…

Говорят вместе.

Что деньги будут поделены между нами поровну.

Леди Г.К. И никакого нам не надо крючкотвора! Вашу руку, сэр Спаниель!

Сэр С.С. Ваши уста, мое сокровище!

Целуются.

— Ха-ха-ха! — закатилась природная леди в своей каталке.

— Разум, о господи! Разум! — крякнул старый Бартоломью и оглядел своего сына, как бы заклиная его стряхнуть с себя эти бабьи нюни и быть мужчиной, сэр.

Джайлз сидел, как струнка, прямой, поджав под себя ноги.

Миссис Манреза достала зеркальце и занялась своими губами и носом.

Граммофон, пока убирали декорации, нежно оповещал о ряде фактов, давно никем не оспариваемых. Более или менее о том, как утро, вокруг себя сбирая платье, стоит в сомненье, перед тем

как уронить росистый свой наряд. Как, вела мелодия, пасутся мирные стада. Как в хижину на склоне дня бедняк приходит, жене и детям о трудах своих ведет простой рассказ: что урожай приносит борозда, что гнездышко скворца упряжка пощадила, и яйца пестрые в тепле остались. Жена тем временем нехитрый собирает ужин, насытившись, он дудочку берет, и музыка выводит за собою веселый хоровод из нимф и пастушков по росной мураве. Потом роняет вечер свой покров и нежными власами прикрывает холмы и долы, реки и луга и прочее, и прочее, и прочее. Далее это все еще раз повторилось.

Пейзаж по-своему вторил песне. Солнце садилось, таяли краски, человек вкушал отдохновенье после дневных трудов, и об этом тоже не мог не рассказать пейзаж, как жар проходит, и побеждает разум, и, освободя от плуга свои упряжки, соседи копаются в саду, на огороде, или стоят, облокотившись о плетни.

Коровы, сделав шажок вперед, потом застывая на месте, как нельзя лучше говорили о том же самом.

Спеленутая этой тройной мелодией публика сидела, смотрела, смотрела кротко, смирно, не задаваясь лишними вопросами, на неотвратимое

явление пальмы в зеленой кадке на месте прежнего будуара, а на то, что означало собою стену, уже навесили часы, и стрелки показывали время, семь без трех минут.

Миссис Элмхерст очнулась от мечтаний, справилась с программкой.

— «Сцена вторая. Мэлл», — она вычитала. «Время: раннее утро. Входит Флавинда». Вот и она!

На сцену вышла Милли Лобстер (продавщица у Ханта и Диксона в магазине тканей) в цветастом сатине, изображая собой Флавинду.

Флавинда. Семь, он сказал, а сейчас семь, часы тому порукой. Но Валентин? Где же Валентин? О! Как бьется сердце! А ведь не рано, часто я на ногах, пока солнце еще не встало над лугами, а я уж на ногах… Ох, идут какие-то господа… выступают, как павлины, распустя хвосты! А я в таком платьишке, хоть у тетушки в кокнутом зеркале оно очень недурно выглядело… ой, а это что там за чучело… а уж волоса они взбивают, что твой именинный торт с воткнутыми свечками… это бриллиант — это рубин… Но где же Валентин? На Мэлле, под померанцевым деревом, так он назначил. Дерево — вот оно. И никакого нет Валентина. Вон там придворный, об заклад побьюсь, старый лис, поджавший хвост.

А там служанка чья-то, гуляет, не сказавшись господам, А этот, с метлой, дорожку расчищает для важных дам, чтоб подолами ее мели… А уж румянец на щеках! Поди, в полях такого не бывает! Ах, неверный, жестокий, бессердечный Валентин. Валентин! Валентин! (*Ломает руки, вертится во все стороны.*) А я-то, я-то! Уж я ли не вышла из спальни тихохонько, как мышка, чтоб тетушку не разбудить? И волосы не вымазала пудрой из ее шкатулки? И щеки не натерла, чтоб блестели? Без сна в постели не лежала, глядючи, как звезды взбираются на дымовые трубы? И свою золотую гинею, которую мне крестный на крещенье подарил, не отдала Деб, чтобы меня не выдавала? И ключ в замке не смазала, чтоб тетка не проснулась, не заорала — Флавви! Флавви! Ах! Валентин!.. Идет… Нет, я вам его походку за милю отличу, он рассекает волны, как этот, ну как его, в книжке с картинками… Но это не Валентин. Так, франт какой-то, какой-то пшют, ишь, поднял свой лорнет, уставился… лучше я домой пойду. Нет, не пойду я… Маленькую девочку из себя корчить, вышивать по канве?.. Разве я с Михайлова дня не стану взрослой? Еще три месяца — и получу наследство… А?Или в тот день, как мячик угодил в шкатулку, где тетка держит свои бумажки, и

крышка распахнулась, я не подглядела в завещанье? «Все свое имущество я оставляю дочери...» До этих пор и прочитала, тут тетка затопала по коридору, как слепец с клюкой... Я не какая-нибудь потерпевшая кораблекрушение, смею вас уведомить, сэр, не русалка с рыбьим хвостом, выброшенная морем для вашей милости. Я не хуже иных прочих, с кем вы время проводите, а мне назначаете свидание под померанцевым деревом, пока сами глаз еще не продрали после ихних ласк. Стыдно вам, сэр, так насмеяться над бедной девушкой... я не заплачу, клянусь, я не заплачу. Ни слезинки не уроню из-за такого, кто так со мной обошелся. Но подумать только, как мы на сыроварне прятались в тот день, когда еще кот прыгнул. И романы читали под омелой. Ах! Как же я плакала, когда герцог бросил бедную Полли! И тетка меня потом застала с красными глазами. «Какая тебя муха укусила?» — говорит. И как заорет: «Живо, Деб, мой синий мешочек!» Да я уж тебе рассказывала... Ах, подумать только, я все это прочитала в книжке и плакала над чужой судьбой! Тсс, что там за деревьями? Вот... и опять нет. Ветер? Вот в тени... вот на солнце... Валентин! Он! Ой, надо спрятаться. Спрячусь за это дерево! (*Прячется.*) Вот он... вертится... ме-

чется… со следа сбился… смотрит… туда, сюда… Ничего, пусть красотками полюбуется, пусть смотрит, думает: «Вот с той я танцевал… вот с той лежал… с той целовался под омелой…» Ха! Да ему плевать на них на всех! Храбрый Валентин! Глаза уставил в землю! Нахмурился — и как ему к лицу! «Где Флавинда? — вздыхает. — Та, кто мне дороже жизни?» Ой, вытащил часы! «О, неверная!» И ножкой, ножкой топнул. Теперь на пятках повернулся… Меня увидел — нет, солнце ему слепит глаза. А в них слезы… Господи боже, за шпагу ухватился! Еще в грудь себе воткнет, как этот герцог в книжке!.. Стойте, стойте, сэр! (*Выходит из укрытия.*)

Валентин. О Флавинда. О!

Флавинда. О Валентин. О!

Бросаются друг другу в объятия.

Часы бьют девять.

— И стоило огород городить! — крикнул чей-то голос.

Публика засмеялась. Голос смолк. Но голос видел, голос слышал. Минуту мисс Ла Троб за своей березой сияла торжеством. В следующую, поглядев на деревенских, ходивших взад-вперед под березами, уже гаркала:

— Громче! Громче!

Ибо сцена была пуста, а следовало продлить напряженье, и продлить его могла исключительно песня, а было не слышно слов.

— Громче! Громче! — Она им погрозила кулаком.

Пролагая тропы (они пели), в долине строя дом, мы идем, мы идем… Зима пройдет, и весна промелькнет… и воротится лето… Все минет, мы пребудем… все переменится… Мы будем навеки неизменны…

(Ветер задувал в прогалы строк.)

— Громче! Громче! — ярилась мисс Ла Троб.

Дворцы крушатся (*они затянули снова*), *и Вавилон, Ниневия, Троя… и Цезаря великое творенье… все лежит во прахе… Где было чибиса гнездо, воздвиглась арка… в какую римляне вступали… пласты земли наш плуг вздымает… Где Клитемнестра, подстерегая мужа… увидела в горах огни… мы тропы пролагаем, мы проходим… И Королева падет, и башня сторожевая падет… Конь Агамемнона умчит… Что Клитемнестра? Прах…*

Ветер сносил слова. Только несколько великих

имен — Вавилон, Ниневия, Клитемнестра, Агамемнон, Троя — парили над простором. Потом ветер стал пуще, и шелест листьев заглушил даже великие слова, и зрители сидели, уставясь на деревенских, которые открывали рты, ни звука не произнося.

Сцена была пуста. Мисс Ла Троб налегала на березу, как бы окаменев. Сила ее оставила. На лбу выступили капли пота. Мечты обманули. «Это смерть, — она бормотала, — смерть».

И вот, когда уж совсем истощилась мечта, вдруг все взяли на себя коровы. Одна потеряла теленочка. И тютелька в тютельку когда надо было, подняла большую волоокую голову и замычала. И поднялись все большие волоокие головы. И корова к корове обращала то же тоскующее мычание. Весь мир взбухал бессловесной тоской. В уши нового времени трубил предвечный, довременный голос. И вот все стадо подхватило заразу Били хвостами, отверделыми, как кочерги, задирали головы и мычали, мычали, будто Эрос, каждой пустив стрелу в бок, их всех разъярил. Коровы заполнили брешь, перекинули мост, заполнили пустоту и продлили напряжение.

Мисс Ла Троб восторженно махала рукой коровам.

— Слава Богу! — кричала она.

Вдруг коровы перестали мычать, опустили головы и стали щипать траву. Зрители тоже опустили головы и глянули в программки.

— «Режиссер, — прочитала миссис Элмхерст вслух в интересах супруга, — просит снисхожденья у почтеннейшей публики. Из-за недостатка времени одна сцена опущена, и режиссер просит публику вообразить, что в промежутке мистер Спаниель добивается помолвки с Флавиндой, и та как раз должна произнести неотвратимые обеты, но Валентин, спрятанный в напольных часах, тут выступает вперед, объявляет Флавинду своей невестой, разоблачает замысел о лишении ее наследства, и, пользуясь возникшим смятением Спаниеля и тетушки, влюбленные убегают, оставя стариков наедине». — Нас просят все это вообразить, — сказала миссис Элмхерст, снимая очки.

— И очень умно она придумала, — миссис Манреза адресовалась к миссис Суизин. — Если все это сюда напихать, нам бы до ночи не выбраться. Так что придется нам вообразить, миссис Суизин, — и она похлопала старушку по колену.

— Вообразить? — отозвалась миссис Суизин. — Как это верно! Актеры слишком много нам

показывают. Китайцы, знаете, положат на стол кинжал — и битва у них готова. И Расин…

— Ага, прям морит скукой, — перебила миссис Манреза, учуяв культуру, возмутясь выступлением старухи и решив за себя постоять. — На днях племянника водила — шикарный парень, сейчас в Сандхерсте[36] — на «Денежки-то пфу»[37]. Видали? — Она повернулась к Джайлзу.

— По дороге городской[38], — промычал тот вместо ответа.

— А, вам няня это пела! — обрадовалась миссис Манреза.

— И моя. И как до «пфу» дойдет, так губами делала, будто пробка слетает с пивной бутылки. Пфу! — воспроизвела этот звук.

— Ш-ш, ш-ш, — зашипел кто-то.

— Да, я веду себя бякой и шокирую вашу тетушку, — сказала миссис Манреза. — А надо быть паиньками и смотреть. Значит, акт третий. «Будуар леди Гарпии Карган. В отдалении слышится

---

[36] Примечания: 36

Королевская военная академия в Сандхерсте — британское военное высшее учебное заведение в городе Сандхерст, графство Беркшир, Англия.

[37] Примечания: 37

Викторианский мюзикл. Название — строчка из детского стишка.

[38] Примечания: 38

Первая строчка этого стишка.

цоканье лошадиных копыт».

Цоканье лошадиных копыт, в виде отчаянного стука Альберта-идиота деревянной ложкой по подносу, замерло вдали.

Леди Г.К. Теперь они уж верно на полпути в Гретна-Грин![39] О неблагодарная! Ты, которую спасла я из соленых вод и сушила подле пастушьего костра! Отчего кит не пожрал тебя со всеми потрохами! О коварная, о, вероломный крокодил! Как первая твоя азбука с картинками тебя не научила чтить свою тетушку! Или ты читала задом наперед, раз только и выучилась, что воровать и лгать, подсматривать завещания в эбеновых шкатулках и прятать вертопрахов в беспорочных часах, секунды не утерявших со времен короля Карла! О Флавинда! О крокодил!

Сэр С.С. (*пытаясь стянуть с себя ботфорты*). Старый… старый… старый. Он обозвал меня старым… «Ложись в постель, старый болван, и выпей горячего молочка!»

Леди Г.К. А она! Повернулась на пороге, ткнула в меня пальцем и говорит: «Старая», сэр, «женщи-

---

[39] Примечания: 39

Гретна-Грин — шотландская деревня на границе с Англией, где несовершеннолетние влюбленные могли заключать брак в обход английского закона 1753 года о том, что пары младше 21 года могли венчаться только с согласия родителей или опекуна.

на», сэр, тогда как я во цвете лет и я дама!

Сэр С.С. (*дергает ботфорты*). Но я с ними поквитаюсь! Я к суду их притяну! Я их выведу на чистую воду! (*Прыгает по комнате в одном ботфорте.*)

Леди Г.К. (*кладет руку ему на плечо*). Пощадите свою подагру, сэр Спаниель. Одумайтесь, сэр, — не будем сходить с ума, ведь над нами едва воссиял шестой десяток! И что их эта юность? Гусиное перо, сносимое порывом северного ветра! Сядьте же, сэр Спаниель. Положите вашу ногу… вот так… (*Подкладывает ему под ногу подушечку.*)

Сэр С.С. И он будет меня называть старым! Выскакивая из часов как черт из табакерки! А она! Насмешничать! Тыкать в мою ногу пальцем и кричать: «Стрела Амура, сэр Спаниель, стрела Амура!» О, с каким бы счастьем я их поджарил на одной сковороде и горяченькими подал на алтарь… О моя старая подагра! Моя старая подагра!

Леди Г.К. Эти речи, сэр, не к лицу человеку здравомыслящему. Помнится, сэр, еще совсем недавно вы поминали… гм… Плеяды. Кассиопею, Альдебаран, Аврору Бореалис… Не будем отрицать — одна из них сошла с орбиты, закатилась, сорвалась, упала, а ясней сказать, сбежала с часовой начинкой, с всего лишь маятником заслуженного механизма. Но, сэр Спаниель, есть

звезды… гм… которые еще остались в небе, которые… гм… одним словом, никогда не светят ярче, чем над костром в прохладе раннего рассвета.

Сэр С.С. О, если бы мне было двадцать пять и на боку разящий меч!

Леди Г.К. (*вскидываясь*). О, я вас понимаю, сэр Спаниель. Разумеется, я не меньше вашего грущу. Но юность? Что такое юность? Сказать вам по секрету, я и сама прошла этот меридиан. Перевалила за экватор. Ночью вкушаю сладкий сон и не ворочаюсь в постели. Минули, промчались эти кошмарные денечки… Подумайте, однако же, сэр. Ведь была бы воля, путь найдется.

Сэр С.С. Истинная правда, леди Гарпия! Ох, нога, нога моя горит, как конское копыто у дьявола на наковальне! Ох!.. Но что вы хотите этим сказать?

Леди Г.К. Что я хочу этим сказать, сэр? Презреть ли мне мою скромность и извлечь на свет то, что покоилось в лаванде уж двадцать лет, с тех пор как супруг мой, — да будет мир его душе, — почил во гробе? Короче говоря, сэр, Флавинда убежала. Клетка опустела. Но мы, оплетавшие, бывало, руки наши маргаритками, можем их соединить более прочной цепью. Покончив с цифрами и счетами. Вот я — Асфодилла, а если проще — Сью. Зовите меня как хотите — Сью, Асфодилла, — я, в

полном здравии, к вашим услугам. Раз заговор сорвался, богатства братца Боба переходят к бедным девам. Яснее ясного. Так и в завещании прописано. «Девы… до скончанья века… петь псалмы… об упокоении его души». А должна вам сказать, ему это ох как не повредит… Ах, не важно, не важно. Хотя мы бросили на ветер огромные богатства, я отнюдь не нищая. Остались еще усадьбы, службы, скот, белье и серебро, мое приданое и описи. Я вам их покажу, все выведено на пергаменте, вполне довольно, поверьте, для общей нашей с вами безбедной жизни в будущем супружестве.

Сэр С.С. В супружестве! Так вот она — простая правда! О миледи, да я скорее брошусь в бочку со смолой, дам привязать себя к терновому кусту в штормовой ветер! Тьфу!

Леди Г.К. В бочку со смолой — скажите пожалуйста! К терновому кусту — скажите пожалуйста! А не ты ли мне тут пел про галактики и млечные пути? Клялся, что я всех их затмеваю? Чума на твою голову! Изменщик! Шакал! Змея в ботфортах! Так вы отрекаетесь от меня, сэр? (*Протягивает ему руку, он ее отпихивает.*) Вы отвергаете мою руку?

Сэр С.С. Спрячь свои подагрические суставы в шерстяные варежки! Тьфу! Мне их не надо! Да

будь это алмазы, алмазы чистой воды, и полмира со всеми наложницами вместе как бусы повешены тебе на шею… мне ничего этого не надо… ничего не надо. Оставь меня, сова, сыч, филин, ведьма и вампир! Пусти меня!

Леди Г.К. А-а, так все слова ваши были не более как блестящая обертка рождественской хлопушки!

Сэр С.С. …Колокольчики на шее у осла! Бумажные розы!.. Ах, моя нош, моя нога… стрела Амура, негодница еще позволила себе шутить… старый, старый, он назвал меня старым! (*Ковыляет прочь.*)

Леди Г.К. (*одна*). И все ушли. Как ветром сдуло. Он ушел, она ушла, старые часы, к которым втерся маятником юный негодяй, одни лишь и остались. Чума на них — дом честной дамы превратить в бордель! Была Аврора Бореалис, а стала хуже бочки со смолой! Была Кассиопея, стала ослицей. Голова кругом. Нет, нельзя верить мужчинам, нельзя верить женщинам, ни сладости речей, ни прелести очей. Сброшена овечья шкура, прочь уползла змея. Ну и катитесь в Гретна-Грин, валяйтесь там на мокрой мураве, гадюк кормите. Ах, моя голова, моя голова… Бочка смолы… Кассиопея… Андромеда… терновый куст… Деб, Деб, я

говорю. (*Кричит в голос.*) Расшнуруй меня. Я сейчас лопну… принеси зеленый столик, да карты положи… И мои туфли с меховой опушкой, Деб… И чашку шоколада… Я с ними поквитаюсь… Я их всех переживу… Деб! Деб! Чума на девку! Оглохла, что ли? Деб, я говорю, цыганское отродье, которое я подобрала в канаве и научила вышивать по канве! Деб! Деб! (*Распахивает настежь дверь в комнату горничной.*) Пусто! Тоже сбежала!., це-це-це! Что это у нее тут на комоде? (*Берет листок, читает.*) «На кой мне нужна ваша пуховая перина? Меня влекут цыгане шумною толпой». О! И подписано: «Ваша прежняя горничная Дебора». О! Та, кого я кормила яблочной кожурой и крошками с собственного моего стола, которую научила играть в «дурачка» и шить сорочки… и она меня оставила. О, Неблагодарность, Дебора тебе имя! Кто теперь будет мыть за мной посуду, приносить мне молочко в постель, терпеть мой нрав, расшнуровывать мой корсет?.. Все-все ушли. Я совсем одна. Без племянницы, без любовника и без горничной.

И ставим точку мы на том.
И вот к концу подходит пьеса.
Прибавим лишь мораль для веса:
Амур порой хитер бывает —

Он в ногу стрелы посылает.
И, право слово, поделом.
А девы пусть поют псалом,
Им, бедным, вечно петь придется:
«Была бы воля, путь найдется».

Присев в реверансе, леди Г.К. удалилась.

Действие кончилось. Разум снизошел со своего пьедестала. Подбирая юбки, важно принимая аплодисменты публики, Мейбл Хопкинс плыла по сцене, лорды и леди в звездах и лентах за нею следовали, сэр Спаниель, хромая, вел усмехающуюся леди Гарпию Карган, Валентин с Флавиндой, держась за руки, приседали и раскланивались.

— Истинная правда! — возгласил переимчивый Бартоломью, — и мораль для веса!

Откинулся на кресле и захохотал, — как кони ржут.

Мораль. Какая мораль? Джайлз прикинул, — мораль вот в чем: была бы воля, путь найдется. Слова стучали в голове насмешкой, издевкой. В Гретна-Грин со своей зазнобой, закусить удила. И будь что будет.

— Оранжерею хотите посмотреть? — выпалил он, вдруг повернувшись к миссис Манрезе.

— Мечтаю! — И с этим воплем она вскочила

со стула.

Антракт? Да, и в программке указано. В кустах жужжало: — ж-ж-ж. А что у них дальше?

— «Викторианская эпоха», — прочитала миссис Элмхерст. Стало быть, есть время размять ноги, прогуляться по парку, а может, и в дом заглянуть. Но почему-то все чувствовали себя — ну как бы это сказать? — несколько не в своей тарелке. Пьеса будто выбила мячик из сетки, что ли; и шарики заскочили за ролики; и то, что было мое я, неприкаянное, витает и никак не может осесть. Все были чуть не в себе. Или просто вдруг их стала теснить одежда? Узкие муслиновые платьица, фланелевые брюки, панамы и даже оплетенные малиновым тюлем шляпки, совершенно как у ее королевского высочества герцогини в Аскоте[40], почему-то ну совсем не смотрелись.

— Ах, но костюмы! — вздохнул кто-то, жадным взглядом провожая упархивающую Флавинду. — Так украшают человека. Мне бы пошло…

Ж-ж-ж, — жужжало в кустах, непреложно, упорно.

Бежали по небу тучки. Облачность была пе-

---

[40] Примечания: 40

Аскот — ипподром близ Виндзора, где проходят ежегодные скачки, важное событие в жизни английской аристократии. Отсюда и определения одежды: аскотский галстук, аскотский шарф.

ременчивая. То Хогбеновский Каприз станет пепельным, сизым. То снова солнце, глядишь, пальнет в золоченый флюгер Болниминстерского собора.

— Дождя бы не было, — сказал кто-то.

— Пошли… надо размяться, — сказал другой голос. И рассыпались по лугам островки разноцветных одежд. Кое-кто, правда, остался сидеть.

— Майор Мэйхью с супругой, — пометил Пейдж, репортер, послюнив карандаш. — Ну а касательно пьесы надо прижать эту мисс Как-бишь-ее-там и с ней провентилировать насчет смысла.

Но мисс Ла Троб куда-то исчезла.

Она трудилась за кустами, как негр. Флавинда стояла в одних штанишках. Разум сбросил свои ризы на изгородь. Сэр Спаниель стягивал ботфорты. Мисс Ла Троб что-то расшвыривала, что-то искала.

— Викторианская накидка, шитая бисером… и куда подевалась, будь она неладна? О ч-черт… Уф, и бакенбарды…

Ныряя, выныривая, она острым птичьим глазком из-за кустов косила на публику. Публика разбредалась, публика растекалась по лужайкам и тропам. Держалась от грим-уборных подальше, соблюдала приличия. Но если они черт-те

куда разбредутся, углубятся в парк, сунутся в дом, тогда… Ж-ж-ж, — жужжало в кустах. Время шло. Долго ли оно продержит их вместе? Тут дело случая, тут игра, риск… И она в поте лица расшвыривала по траве реквизит.

Сквозь кусты к ней летели беспризорные голоса, бесплотные голоса, символические, так ей казалось: она их почти не слышала, совсем не видела, но чуяла из-за кустов незримые нити, сплетавшие бесплотные голоса.

— Мрачноватая перспектива, — сказал кто-то.

— И кому это надо, кроме проклятых немцев? И — замолчали.

— Я бы деревья эти повырубила…

— И как они тут розы выращивают!

— Да вроде тут уже пятьсот лет назад сад был…

— Но ведь даже старик Гладстон[41], надо отдать ему должное…

И опять все смолкло. Голоса прошли дальше, прошли мимо кустов. Шелестели деревья. Множество глаз — мисс Ла Троб не сомневалась, чуяло ее сердце, — множество глаз озирало пейзаж. Краем глаза она видела Хогбеновский Каприз, и

---

[41] Примечания: 41

Уильям Гладстон (1809–1898) — британский государственный деятель. За свою более чем 60-летнюю карьеру был премьер-министром в течение 12 лет (1868–1894, четыре срока подряд).

подмигнул флюгер.

— Барометр падает.

Чуяло ее сердце: ускользают у нее между пальцев, пейзаж разглядывают.

— Куда запропастилась эта миссис Роджерс, будь она неладна? Эй, кто-нибудь! Кто видел миссис Роджерс? — орала она, тиская викторианскую накидку.

Тут, попирая приличия, среди дрожания веток проклюнулась голова: миссис Суизин.

— Ах, мисс Ла Троб! — Она вскрикнула, увяла. Расцвела вновь. — Ах, мисс Ла Троб! Я вас от души поздравляю!

Споткнулась.

— Вы мне доставили такое… — переглотнула, перескочила. — Еще в детстве я чувствовала… — Глаза ей заволокло, заслонило теперешний миг. Она принялась было ворошить детство, бросила потуги и, легонько взмахнув рукой, как бы заручившись одобреньем мисс Ла Троб, понеслась: — Весь день хлопочешь, вверх-вниз по лестницам, спрашиваешь себя: и зачем я сюда пришла? Ах, очки? Но они у меня на носу…

В мисс Ла Троб уставился старый, синий, безоблачный взор. Взгляды скрестились в совместном усилии высечь искру, понять. Искра не высека-

лась, и миссис Суизин, отчаянно ловя за хвост верткую мысль, наконец разразилась:

— Мне досталась такая скромная роль! Но вы мне дали почувствовать, что я могла бы сыграть… Клеопатру!

Поклонилась, расколыхав ветки, и засеменила прочь.

Деревенские переглянулись. Га-га — ну как иначе назвать Старого Пушка, вламывающегося в кусты.

— Я могла бы быть… Клеопатрой, — повторила мисс Ла Троб. — Вы во мне всколыхнули мою несыгранную роль, вот в чем весь смысл.

— Ну, влезаем в юбки, миссис Роджерс, — она приказала.

Миссис Роджерс стояла как дура в своих черных чулках.

Мисс Ла Троб натягивала ей через голову пышные воланы викторианской эпохи. Закрепляла тесьму «Вы задели незримые струны», — хотела сказать старушка; да, и я открыла в ней — Клеопатру, ни больше ни меньше! Мисс Ла Троб ликовала. Ах, разве она только дергает кого-то там за какие-то струны, она в общем котле кипятит разбредающиеся тела, беспризорные голоса, она из бесформенной глины лепит новую явь.

Вот он, великий миг, миг славы наступил.

— Так! — Она закрепила черные ленты у миссис Роджерс на подбородке. — Готово! Теперь займемся джентльменами. Хэммонд!

Пришла очередь Хэммонда. Тот стыдливо приблизился и безропотно оброс черными бакенбардами. Так, прикрыв глаза, откинув голову, он, по мнению мисс Ла Троб, напоминал короля Артура — благородный, рыцарственный, тощий.

— Где старый майорский сюртук? — взывала она, доверяясь преображающей силе майорской оснастки.

Ж-ж-ж, — жужжало в кустах. Время шло.

А публика где-то шляется, бродит. Только жужжание граммофона и держит их вместе. Вон там, вдалеке, одиноко огибает куртину миссис Джайлз, намереваясь смыться.

— Музыка! — гаркнула мисс Ла Троб. — Живо! Следующую пластинку! Номер десять!

— Ну, могу я сорвать, — бормотала Айза, срывая розу, единственный цветок. — Белый, красный? И зажать его в пальцах, вот так…

Среди проходящих лиц она высматривала лицо человека в сером. Вот он мелькнул, но не один, неподступный. Вот снова пропал.

Она выронила розу. Какой бы зажать между

пальцев одинокий листок? Никакой. И не дело одной бродяжить возле клумбы. Надо идти дальше, она свернула к конюшням.

Куда я иду? — она думала. По каким сквозным переходам? Где, слепой, тычется ветер. И ничто не растет. Ни единой розы. Куда я приду? К бесплодным, сирым полям, не знающим ласки заката, где солнце не всходит. И все скучно, серо. И роза не цветет, не растет. Где ничто не меняется, и невозможно полюбить; и нет ни разлук, ни встреч; ни поисков, ни находок; и руки не ищет рука, глаз не ищет спасенья от глаза.

Она вышла на конный двор, там были цепные псы, и стояли ведра, и огромная груша приставила к стене лестницей размашистые ветки. Корни проросли сквозь плиты, ветки прогнулись от твердых зеленых груш. Айза пощупала одну, пробубнила:

— Так и меня пригнетает то, что вытянуто из земли, воспоминанья, именье. Этот груз на меня навьючило прошлое — на последнего ослика, бредущего по пустыне за караваном. «На колени, — командует мое прошлое, — вьюки наполни плодами нашего дерева. Встань, ослик. Иди своим путем, пока не сотрешь ноги, не разобьешь копытца».

Груша оказалась твердая как камень. Айза глянула на треснутые плиты, под которыми распустило покореженные корни старое дерево. Этот груз, она думала, навьючен на меня с колыбели, нашептан волнами, надышан бессонными вязами, набаюкан пением нянь о том, что нам следует помнить, о том, что мы позабудем.

Она подняла взгляд. Золоченые стрелки часов на конюшне непреложно ползли к новому часу Через две минуты — пробьет.

— Молния ударит, — Айза бубнила, — с ясного неба. Лопнут ремни, закрепленные мертвыми. Рассеется наше именье.

Ее отвлекли голоса. Мимо конюшни шли, перебрасывались словами.

«Одни говорят — славен будет день, когда нас догола разденут. Другие говорят, то будет конец времен. Все увидят гостиный двор и хозяина. Но никто не заговорит своим собственным голосом. Свободным от вибраций породы. Вечно я буду слышать противные призвуки, звяканье золота и металла. Полоумную музыку..»

Еще какие-то голоса. Публика стекалась к террасе. Айза сосредоточилась. Взяла себя в руки. «Вперед, ослик, труси, покорно труси. Не слушай дикого воя погонщиков, ослик, они заведут тебя

далеко-далеко и бросят. Ни болтовни не слушай фарфоровых, гладких и жестких лиц. Лучше слушай, как кашляет пастух у забора; как вздыхает засохшее дерево, когда скачет мимо всадник на бледном коне; слушай тот гогот в казарме, когда с девушки сдирают одежду; или крик, когда в Лондоне я отворяю окно, а там крик…»

Она вышла на тропку, бежавшую мимо теплицы. Дверь толкнули изнутри. Вышли миссис Манреза и Джайлз. Незамеченная, Айза за ними проследовала по лугам, к первому ряду стульев.

Ж-ж-ж, — жужжанье смолкло в кустах. По команде мисс Ла Троб сменили пластинку Номер десять. «Крики лондонских улиц» — так называлась пластинка. Попурри.

— Лаванды, душистой лаванды, кому пахучей лаванды, — свистела и щелкала музыка, безуспешно подхлестывая публику Кто внимания не обращал. Кто еще шлялся где-то. Другие останавливались, да так и стояли, ни туда ни сюда. Некоторые, например полковник Мэйхью с супругой, не покидавшие своих мест, размышляли над изготовленной к их услугам подслеповатой машинописью.

«Девятнадцатый век».

Полковник абсолютно не отнимал у режиссера

полного права проворачивать два столетья за менее чем пятнадцать минут. Но его смущал выбор сцен.

— Как же так — не показать британские вооруженные силы? Какая без вооруженных сил история, э? — рассуждал полковник. Склонив голову, миссис Мэйхью возражала, что, в конце концов, нельзя слишком многого требовать. И вдобавок, возможно, все в конце концов торжественно соберутся вокруг Юнион Джека — такой задуман финал? В любом случае у них остается прекрасный пейзаж. Оба полюбовались пейзажем.

— Лаванды… душистой лаванды… — Подтягивая мелодию, старая миссис Линн Джонс (с Холма) оттолкнула стул. — Сюда, Этти, — она сказала, сама плюхаясь рядом с Этти Спрингет, с которой, как овдовели обе, они поселились вместе. — Помню… — она кивала мелодии в такт, — и ты тоже помнишь, конечно, как это выкликали по улицам.

Обе помнили — занавески вздуваются, продавцы надрываются: «Кому? Кому? Налетай! Свежих, сладких, прямо с грядки!» — и проносят по улице герань и горошек в горшочках.

— Помню арфу, и бричку помню, и дрожки. А

тишина какая, бывало, на улицах! Кому коляску? Кому дрожки? И наша Эллен — на улице, в чепчике, в фартучке — им свистела, сюда мол, сюда! Помнишь? А носильщики? Господи боже ты мой, как они неслись за тобой с вокзала до самого дома, если у тебя был багаж!

Мелодия изменилась. — «Железный лом, старье берем»? Помнишь? Мужчины кричали в тумане. Приезжие из Севен-Дайелз. У всех красные косынки на шее. Удавленники, так мы их прозвали, да? После театра — ни-ни — и думать не моги возвращаться пешком. Риджент-стрит. Пиккадилли. Гайд-парк-корнер. Эти падшие женщины… И вечно хлебные горбушки валялись в канаве… А ирландцы у Ковент-Гардена?.. Или — возвращаешься с бала, мимо часов на Гайд-парк-корнер, белые перчатки так и ласкают руку, да?.. А папа встречал в парке старого герцога. Два пальца… вот так… прикладывал к шляпе. Я мамин альбом сберегла. Озеро, влюбленная парочка… Она Байрона переписывала, каллиграфическим почерком…

— А это? Ах! «И застигли их на старой на дороге Кентской»[42]. Помню, еще посыльный насвисты-

---

[42] Примечания: 42

Название песни английского поэта Альберта Шевальей (1861–1923).

вал. Ой-ёй-ёй, эти слуги… Наша старая Эллен… Семнадцать фунтов в год жалованья… А кувшины с горячей водой! А кринолины! Корсеты! Помнишь, хрустальный дворец, фейерверк, а Майра бальную туфельку в грязи утопила?

— Смотри-ка, молодая миссис Джайлз… помню ее мать. В Индии умерла. А сколько мы тогда на себя нижних юбок напяливали! Негигиенично? Кто спорит… А теперь на мою дочь посмотри. Чуть правей, да-да, сразу за тобою. Сорок стукнуло, а стройная как тростинка… Каждой квартире холодильник… Мама целое утро убивала, чтобы обед заказать… нас у нее было одиннадцать. Считая с прислугой, восемнадцать ртов накормить… А теперь сняла себе трубочку и звони в магазин… А вон Джайлз идет, с миссис Манрезой. Как-то она не совсем в моем вкусе. Может, я недопонимаю чего-то… А-а, мистер Коббет — притулился под лиственницей… Редко его вижу… За что и люблю эти праздники: можно на людей посмотреть, себя показать. В наше время у всех хлопот полон рот, а когда-никогда хочется… Программка? Есть у тебя? Дай-ка сюда, глянем, что там дальше у них… Девятнадцатый век… Смотри, хор, деревенские ходят взад-вперед под березами… Но сперва пролог…

Огромный ящик, крытый зеленым сукном в тяжелых золотых позументах, поставили посреди сцены. Шорох платьев, шарканье стульев. Публика виновато суетится, занимая места. Мисс Ла Троб не спускает с них глаз. Пять секунд им дается на то, чтоб привести в порядок физиономии. И — она взмахнула рукой. Грянул пышный марш. «Собой прекрасен, могуч и властен» и т. д., и т. д… И вот снова является из-за кустов могучий символический образ. Это Бадж, хозяин паба; но в таком виде, что даже дружкам-приятелям, ежевечерне с ним выпивающим, его не признать; и смешки, и вопросы относительно его личности шелестят по рядам. На нем длинный черный плащ с капюшоном, непромокаемый плащ, блестящий, плотный и жесткий, как у статуи на Парламентской площади, полисменская каска, вся грудь в медалях, и в простертой правой руке полицейская дубинка (любезно предоставленная мистером Уиллертом из местной управы). Зато голос, сдобный, низкий голос, прогудев из-под черных ватных усов, выдал его с головой.

— Бадж, Бадж, это же мистер Бадж, — пронеслось по рядам.

Бадж заговорил, помавая жезлом:

Работенка не из легких, на углу Хыйд-парка стоючи, движение, стало быть, направлять. Автомобили, конки. Эдакий грохот по мостовой. Пррава держи, эй! Оглох, что ли! (Он помахал жезлом.) *И куда лезет, старая, зонтик свой лошади аж в самую морду тычет.* (Жезл недвусмысленно указывал на миссис Суизин.)

Она заслонилась тощей рукой, будто и в самом деле вдруг сорвалась с тротуара и навлекла на себя властный праведный гнев. Получила, подумал Джайзл, беря сторону власти против собственной тетушки.

Туман ли, ясная ли похода, а я на своем посте (продолжал Бадж). *На Пыккадылли, у Хыйд-парка — правлю, значит, движением в Империи ее величества. Персидский шах, султан марокканский, будь хоть лично ее величество своей персоной, да хоть путешественники, белые, черные, хоть матросы, хоть солдаты, кто рассекает моря-окияны, возглашает ее величеству славу и честь, для всех как есть мой жезл наипервейший указ.* (Он величаво, справа налево, взмахнул жезлом.) *И на том должность моя не кончается. Я защищаю, я просвечаю всех ее величества подданных, во всех самых что ни есть дальних ее владеньях,*

я смотрю, я слежу, чтобы, значит, блюли они законы Божеские и человеческие. Законы божеские и человеческие (он повторил, сделав вид, будто сверяется с уставом, для чего сунул нос в пергаментный лист, с большим тщанием извлеченный из кармана штанов). *По воскресеньям чтобы в церковь ходылы, по понедельникам в девять — тик в тик — чтобы в омнибус залазили. По вторникам посещали бы собрания в Мэншон-Хаузе*[43] *во искупление грехов, в среду уже другое прописано — черепаховый суп, ну, в Ирландии, там, конечно, бывает всякое: голод, фении. Мало ли. В четверг уроженцы Перу нуждаются в наших советах и нашей защите, они получают, чего им положено. Однако, заметьте себе, на этом наше правление не кончается. Мы живем в христианской стране, под белой королевой Викторией. Мысли и вера, питье, поведете, одёжа, ну, само собой, и женитьба — тут без моего жезла никуда. Благостояние и благородство всегда, сами знаете, рука об руку ходят. Страны управитель должон и за детской люлькой приглядывать, и за кухней следить, и залой, за библитекой, где один или двое, хоть я, скажем, с вами, собираются вместе.*

---

[43] Примечания: 43

Меншн-Хаус — резиденция лорд-мэра лондонского Сити.

Наш пароль — честность, блаародство и благостояние. А кто не желает, пусть катится... (Он помолчал — нет-нет, он не забыл слова.) *...в Криппльгейт, Сент-Джайлз, Уайтчепел, Майнори*[44]*. Пусть в копях потеет, кряхтит на галерах, влачит жалкий жребий. Такая, стало быть, цена Империи, такое бремя белых*[45]*. И, скажу я вам, как следовать быть править движением, что на углу Хыйд-парка, что на Пыккадылли, — это нагрузка на полный день для белого человека.*

Он помолчал, величаво, властно всех озирая со своего пьедестала. Весьма внушительная фигура, все согласились, — с этим простертым жезлом, в непромокаемом этом плаще. Только мороси не хватало, да порхания голубей над его головой, да перелива колоколов Вестминстерского аббатства, собора Святого Павла, чтобы окончательно его превратить в констебля времен Виктории, а публику перенесть в лондонский вечерний

---

[44] Примечания: 44

Нищие кварталы Лондона того времени.

[45] Примечания: 45

«*Бремя белых*» — стихотворение *Р. Киплинга* (1865–1936). «Твой жребий — бремя белых! / Как в изгнанье пошли / Своих сынов на службу / Темным сынам земли, / На каторжную работу / Нету ее лютей — / Править тупой толпою / То дьяволов, то детей. / Твой жребий — бремя белых! Терпеливо сноси угрозы и оскорбленья / и почестей не проси» (пер. В. Топорова).

туман, в котором потренькивают колокольцы пирожников да морем разливанным катит колокольный викторианский победный звон.

Произошла заминка. Паломники пели, конечно, взад-вперед топчась меж березами, но слов было не разобрать. Публика сидела, ждала.

— Ну-ну-ну, — миссис Линн Джонс осталась не очень довольна, — среди них были такие чудесные люди…

Трудно объяснить почему, но как-то такое ей мнилось, что насмешка метит в ее родителя, а стало быть, и в нее.

Этти Спрингет тоже слегка покоробило. Да, дети возили в копях тележки с углем, и был подвальный этаж, зато папа после ужина читал им вслух Вальтера Скотта, и не допускались ко Двору разведенки. Ах, как все это сложно! Уж скорей бы начинали новую сцену. Хочется, уходя из театра, знать все-таки, что тебе показали. Конечно, тут всего-навсего сельская постановка… Вот, новую сцену уже готовят, ящик покрыли красным сукном. Она прочитала в программке:

— «Пикник. Время действия — около 1860 г. У озера. Действующие лица…»

Она запнулась. По террасе расстелили простыню. Озеро, по всей вероятности. Грубо намале-

ванная зыбь — стало быть, вода. Зеленые палки — камыш. И очень красиво — над простыней носились настоящие ласточки.

— Минни, смотри! — не удержалась она. — Настоящие ласточки!

— Ш-ш, — ее призвали к порядку. Уже начиналось действие. На берег озера вышел молодой человек в брюках со штрипками, в бакенах, со стеком.

Эдгар. …Разрешите, я помогу вам, мисс Хардкасл! Вот так!

Помогает мисс Элеанор Хардкасл, девице в кринолине и капоре, подняться на холм.

Мгновение оба стоят, слегка задыхаясь, молча любуясь видом.

Элеанор. Какой махонькой кажется церковь, там, между деревьев!

Эдгар. Это Утеха Путников, место встреч.

Элеанор. Пожалуйста, мистер Торолд, закончите свою мысль. Вы начали говорить, но нам помешали. Вы сказали: «Нашей целью в жизни…»

Эдгар. …должна бы быть помощь ближним.

Элеанор (*глубоко вздыхая*). Как это верно — как это глубоко верно!

Эдгар. Зачем вздыхать, мисс Хардкасл? Вам-то не в чем себя укорить. Вся жизнь ваша отдана на служенье людям. Нет, я думал о себе самом. Я уж немолод. В двадцать четыре года увянул жизни лучший цвет. Юность моя миновала (*бросает камешек в воду*), как эти круги на воде.

Элеанор. Ах, мистер Торолд, вы не знаете меня. Я не то, чем кажусь. Я тоже…

Эдгар. Не говорите так, мисс Хардкасл… нет, я не могу этому поверить… Вас тоже посещают сомненья?

Элеанор. Хваление Небу, нет, не то… В неге и холе, под верной защитой родительской ласки, не зная забот и печали, какой вы меня знаете, какой вы меня видите… Ах, что же это я говорю? Да! Была не была! Я должна вам сказать всю правду, пока не пришла матушка. Я тоже стремлюсь обращать язычников!

Эдгар. Мисс Хардкасл! Элеанор!.. Неужто! Могу ли я надеяться? Нет! Вы так молоды, так невинны. Подумайте, я вас молю, прежде чем дать мне ответ…

Элеанор. Я уже думала… стоя на коленях!

Эдгар (*вынимая из кармана кольцо*). А тогда… моя маменька заклинала меня на смертном одре отдать это кольцо только той, для кого всю жизнь

провести в африканской пустыне, среди дикарей, было бы…

Элеанор (*берет кольцо*). …высшее блаженство! Но — ш-ш-ш. (*Прячет кольцо к себе в карман.*) Это маменька! (*Отпрянула от Эдгара.*)

Появляется миссис Хардкасл, корпулентная дама в черном бомбазине, верхом на осле, которого ведет под уздцы почтенный господин в охотничьей войлочной шляпе.

Миссис Х. О, вы обогнали нас, молодые люди. Бывали времена, сэр Джон, когда мы всегда первыми добирались доверху. Не то теперь…

Он помогает ей спешиться. Сбегаются дети, юноши, девушки, кто с корзиной, кто с рампеткой, с подзорными трубами, с ботанизирками. Возле озера расстилают плед, и миссис Х. и сэр Джон садятся на походные стульчики.

Миссис Х. Кто чайники наполнит? Кто щепок соберет? Элфрид (*маленькому мальчику*), не носись так за бабочками, у тебя голова закружится… мы с сэром Джоном распакуем наши корзины вон там, где сгорела трава, где мы в прошлом году пировали.

Молодежь разбегается кто куда.

Миссис Х. и сэр Джон заняты корзиной.

В прошлом году мистер Бич был еще среди нас, бедняжка. Мирная, безболезненная кончина… (*Утирает глаза платочком с траурной каймой.*) Что ни год, еще кого-нибудь мы недосчитываемся. Это бекон… Это куропатки… тут бездна всякой дичи… (*Раскладывает еду на траве.*) Да, так я говорю, бедный милый мистер Бич… Надеюсь, сливки не прокисли… Мистер Хардкасл доставит бордо. Это я всегда ему доверяю. Но только когда мистер Хардкасл затевает с мистером Пиготтом спор о римлянах… в прошлом году они так увлеклись… Джентльмену полезно иметь своего конька, хоть из-за этого такая пыль в доме — от всех этих черепов и прочее… Да, так я говорю, бедный мистер Бич… Я у вас хотела спросить (*понижает голос*), как у друга дома, относительно нового пастора… Нас никто не слышит, нет? Нет, они же щепки собирают… В прошлом году нас постигло такое разочарование. Только-только все разложили, и нате вам — дождь. Да, так я вас хотела спросить насчет нового пастора, который заменит бедного мистера Бича. Мне сказали, его фамилия Сибторп. По-моему, я не могла спутать, потому что один мой кузен женат на девице с такой фамилией и мы с ними накоротке. Но когда

у тебя дочь — ах, как я вам завидую, сэр Джон, у вас всего одна дочь, а у меня их четыре! Да, так я вас хотела спросить по секрету, про этого юного Сибторпа… не так ли?., потому что, должна вам сказать, третьего дня миссис Поттс рассказывала: проходит она мимо пасторского дома, белье приносила, а там мебель разгружают; и что же она видит? На шифоньере? Грелку на чайник! Ну конечно, она могла обознаться… Но я решила спросить у вас, как у друга дома, по секрету, есть ли у мистера Сибторпа супруга?

Тут хор деревенских в викторианских одеждах, бакенбардах и цилиндрах поет:

О, есть ли у мистера Сибторпа супруга? О, есть ли у мистера Сибторпа супруга? Вопрос это сложный, вопрос неотложный, он матери сердце тревожит, он матери сердце терзает и гложет, ах, им не задаться, ах, им не терзаться, когда у вас взрослая дочь, невозможно. Скорей расскажите, скорей объясните, облегчите сердца тревогу: неужто и правда — вместе с Библией, требником, вместе с халатом и стеком, вместе с удочкой, семейным альбомом — приволок он с собой этот символ супружества, домашнего символ уюта, эту несчастную грелку на чайник? Скажите, ска-

жите, скажите! О, есть ли у мистера Сибторпа супруга? О, есть ли у мистера Сибторпа супруга?

Не успел хор допеть, появились участники пикника. Летят пробки. Нарезаны бекон, цыплята и куропатки. Уста жуют. Осушаются бокалы. Ничего не слышно, кроме жеванья и звона бокалов.

— Ну и лопают. — Миссис Линн Джонс шепнула миссис Спрингет. — Даже для здоровья не полезно.

Сэр Джон (*стряхивая с усов волоконца мяса*). Ну а теперь…

— Что — а теперь? — шепнула миссис Спрингет, опасаясь нового подвоха.

…А теперь, отдав должное потребностям тела, удовлетворим же потребности духа. Я прошу одну из юных дев спеть нам.

Хор юных дев. …Ах, не я… Только не я… Я, право, не могу… Жестокие, вы же знаете, я не в голосе… Я не могу петь без инструмента… и т. д. и т. д. и т. п.

Хор молодых людей. И, полно, вздор какой! Спойте нам «Лета последняя Роза». Спойте «Я не

ласкал мою газель»[46].

Миссис Х. (*властно*). Элеонор и Милдред нам сейчас споют «Быть бы мне бабочкой»[47].

Элеанор и Милдред покорно встают и поют дуэтом «Быть бы мне бабочкой».

От души вас благодарю, мои милые. А теперь очередь молодых людей. «Правь, Британия!»[48].

Артур и Эдгар поют «Правь, Британия!».

Благодарю, благодарю. А теперь мистер Хардкасл…

Сэр Джон (*вставая и прижимая к груди свое ископаемое*). Помолимся.

Все встают.

— Ну нет, это уж слишком, это уж слишком, — не вытерпела миссис Спрингет.

Сэр Джон. Всемогущий Господи, податель вся-

---

[46] Примечания: 46

Популярные песни на стихи *Томаса Мура* (1779–1852). Первая из «Ирландских мелодий», вторая из «Лалла Рук».

[47] Примечания: 47

Романс на стихи *Томаса Хенза Бейли* (1797–1839).

[48] Примечания: 48

Песня из пьесы *Джеймса Томсона* (1700–1778) «Алфрид», ставшая столь популярной, что превратилась в нечто вроде национального гимна.

кого блага, благодарим Тебя, за нашу пищу и питье, за красоты природы, за мудрость, какой Ты нас наделяешь. (*Ласкает свое ископаемое.*) И за великий дар Мира на земле. Дозволь нам быть Твоими верными рабами, дай нам нести свет Твоего…

Тут задняя часть осла, воплощаемая идиотом Албертом, пришла в движение. Намеренно или непроизвольно? «На осла поглядите! На осла!» Заключительная часть молитвы сэра Джона утонула в смешках, потом наконец стало слышно:

…счастливого возвращения, плотью укрепясь от Твоих даров, духом вдохновившись Твоей премудростью. Аминь.

Держа перед собой свое ископаемое, мистер Хардкасл строевым шагом удаляется прочь. Осел укрощен, корзины сложены, выстроившись в процессию, участники пикника постепенно исчезают за холмом.

Эдгар (*замыкая шествие вместе с Элеанор*). Обращать язычников!

Элеанор. Помогать своим ближним!

Бадж. Пора, леди, пора, жентльмены, собираться и отправляться восвояси. Стоя здесь, с жезлом в

руке, блюдя блаародство, блахостояние и чистоту викторианской страны, я вижу перед собой (*указывает: перед ним Пойнз-Холл, кружат грачи, реет дым*) дом, родной уютный дом[49].

Граммофон подхватывает: Нет тебя любимей, нет тебя верней, дом, дом, родной уютный дом. и т. д.

Бадж. Дом, жентлъмены, дом, леди. Домой-домой. Пора собираться и отправляться восвояси. Там, я гляжу, кажись, огонек (*показывает: одно окно горит красным светом*) разгорается все пуще, нет? На кухне, в детской, в зале или библитеке? Стало быть, огонь очага. Дóма! И гляньте! Наша Джейн принесла чай. А ну-ка, детки, где ваши игрушки? Мамаша, скорей откладывай свое вязанье. Потому как (*он очертил жезлом Коббета из Коббс-корнера*) кормилец возвертается домой — из города, домой — из-за стойки, домой — из лавки. «Мамаша, чайку», «Детишки, ко мне скорей сюда. Я вслух вам почитаю. Чего бы почитать? Синдбада-морехода? Или чего-нибудь из Писания? Или вам картинки показать? Не хочете? Тогда скорей кубики сюда. И будем

[49] Примечания: 49

Популярная песня американского актера *Джона Хауарда Пейна* (1791–1852).

строить! Чего? Теплиию? Библитеку? Или лучше башню, и, может, вывесим там флаг, после чая, когда Королева-вдова сбирает вокруг себя королевских сироток?» Да, пора-пора домой, леди, домой, жентлъмены. Нет места слаще, чем дом, родной уютный дом!

Граммофон запел «Дом, дом, родной уютный дом», и Бадж, слегка покачнувшись, слез со своего пьедестала и вслед процессии удалился со сцены.

Сцена опустела.

— А по-моему, было прекрасно, — припечатала миссис Линн Джонс. Дом, она имела в виду: озаренная зала, малиновые занавески, и папа читает вслух.

Озеро скатывали, выдирали тростник. Настоящие ласточки носились над настоящей травой. А она одно видела — дом.

— Это было… — повторила она, разумея дом.

— Дешевка и пошлость, — отрезала Этти Спрингет, разумея пьесу, и нехорошим взглядом окинула зеленые штаны Доджа, галстук в крапинку, расстегнутый жилет.

А миссис Линн Джонс одно видела — дом. Может, и было, она размышляла, пока свертывали красный пьедестал Баджа, что-то — ну, не сказать

несвежее, не то слово, но негигиеничное, что ли, в этом их доме? Вроде чуть почерствелого сыра, заветренного, как говорила прислуга? Не то с чего бы ему развалиться? Время идет, идет, как стрелки на кухонных часах. (В кустах жужжал и жужжал граммофон.) Не встречая препятствий, она рассуждала, не одолевая трения, так бы они все вертелись, вертелись по циферблату. И остался бы — дом, и папина борода, она рассуждала, росла бы, росла, и мамино вязанье — и что она вывязала в результате? Перемены необходимы, решила она, не то наросли бы метры и метры папиной бороды, маминого вязанья. Вот теперь — зять гладко выбрит. У дочки холодильник… О господи, опять я отвлекаюсь, она спохватилась. Да, так о чем я: перемены нужны, все на свете становится лучше и лучше, пока не достигнет совершенства, а уж тогда, наверно, Время будет бессильно. Рай — не меняется.

— А они и вправду были такие? — вдруг спросила Айза. И посмотрела на миссис Суизин так, будто та — динозавр или крайне тщедушный мамонт. Пора бы и вымереть, раз жила в эпоху Виктории.

Ж-ж-ж, — жужжало в кустах.

— Викторианцы, — задумалась миссис Суи-

зин. — Нет, не верю, — она сказала со странной своей усмешкой, — что такие люди существовали. Просто ты, да я, да Уильям, только иначе одеты.

— Вы не признаете истории, — сказал Уильям Додж.

Сцена была пуста. Коровы переступали в лугах. Тени уплотнялись под вязами.

Миссис Суизин гладила свой крестик. Туманно оглядывала пейзаж. Пустилась, было ясно, по волнам своей обычной фантазии: все на свете — едино. Овцы, коровы, трава, деревья, мы сами — всё вместе сливается в единое целое. И при всей какофонии складывается в гармонию — пусть не для нас, но для гигантского, гигантской голове принадлежащего уха. А раз так — она улыбалась блаженно — муки отдельной овцы, коровы и человека необходимы, а значит — она серафически улыбалась золоченому флюгеру вдалеке — нам бы открылось, что все на свете гармония, сумей мы только прислушаться. И мы сумеем. Взгляд ее был устремлен поверх пышного белого облака. Ну, раз эта мысль ее тешит — Айза и Уильям переглянулись с улыбкой — пусть, на здоровье.

Ж-ж-ж, — жужжало в кустах.

— Вы поняли, что она хотела сказать? — Вдруг

миссис Суизин вернулась на землю. — Мисс Ла Троб?

Айза, блуждая взглядом, затрясла головой.

— Но то же можно сказать про Шекспира, — сказала миссис Суизин.

— Шекспира и стеклянные гармоники[50], — вставила миссис Манреза. — Господи, каким я из-за вас себя чувствую варваром!

Она повернулась к Джайлзу. Ожидая, что он вступится за наивную прекрасную душу.

— Ерунда какая, — сказал Джайлз.

Жаркие перстни миссис Манрезы метали красные, зеленые стрелы. Он перевел взгляд с них на тетю Люси. С нее на Уильяма Доджа. С него на Айзу. Она взглядом оттолкнула его взгляд. И он стал смотреть вниз, на свои окровавленные белые туфли.

Он говорил (без слов):

— Я дико несчастен.

— Я тоже, — вторил Додж.

— И я, — думала Айза.

Всех их поймали и сунули в клетку, заточили, обязали смотреть эту пьесу. На сцене ничего

---

[50] Примечания: 50

Намек на роман Оливера Голдсмита «Векфильдский священник» (гл. 8). «Модные темы, как картины, вкус, Шекспир и стеклянные гармоники».

решительно не происходило. Жужжанье в кустах сводило с ума.

— Вперед, ослик, — пробубнила Айза, — иди… через пустыню… неси свою ношу…

Она почувствовала взгляд Доджа на своих шепчущих губах. Вечно чьи-то холодные глаза ползут по тебе, как зимняя трупная муха! Она их стряхнула.

— И чего они тянут! — выпалила раздраженно.

— «Снова антракт», — прочитал Додж, поглядев в программку.

— А что потом? — спросила Люси.

— «Наше время. Мы сами». — Он прочитал.

— Дай бы бог, чтоб на этом кончилось, — буркнул Джайлз хрипло.

— Вот. А теперь вы себя ведете бякой, — укорила миссис Манреза своего маленького мальчика, своего сурового героя.

Никто не шелохнулся. Сидели, смотрели на пустую сцену, на коров, луга, на пейзаж, и жужжало, жужжало в кустах.

— А какова цель, — Бартоломью вдруг поднялся, — этого мероприятия?

— «Вырученные деньги, — прочитала Айза по слепой машинописи у себя на коленях, — поступят в фонд средств для проведения электричества

в церкви».

— Все наши деревенские празднества, — фыркнул мистер Оливер, повернувшись к миссис Манрезе, — кончаются просьбой о деньгах.

— Ну конечно, конечно, — она бормотнула, не одобряя его суровости, и звякнула монетами в бисерной сумочке.

Ничто в Англии не делается задаром, — продолжал старик. Миссис Манреза была не согласна. Может, относительно викторианцев оно и верно, но к нам ведь никак не относится? — Она что, действительно верит в наше бескорыстие? — пытал мистер Оливер.

— Ах, вы моего мужа не знаете! — набычась, вскричало дитя природы.

Поразительная женщина! Можете не сомневаться — прокукует кукушкой, когда час пробьет, замрет, как старая лошадь, когда брякнет звоночек конки. Мистер Оливер ничего не ответил. Миссис Манреза вынула зеркальце и принялась за свое лицо.

Все нервничали. Сколько еще тут торчать? Это жужжанье в кустах. Надсадные взвизги автомобильных рожков с проезжего тракта. И свист деревьев. Да кто мы такие, собственно? Неизвестно. Не викторианцы, нет, и вообще неизвестно

кто. Будто, пустые, висим в пустоте, в лимбе. Ж-ж-ж, — жужжало в кустах.

Айза дергалась, смотрела налево, направо через плечо.

Шалтай-болтай сидел на стене, —

бубнила она себе под нос. —

Шли страус и орел,
И с ними повар шел.
Кого из вас — спросил он, —
Скорей подать на стол?
Скорей сюда, красотки,
Скорее, господа,
Готовы сковородки,
Давно кипит вода,
Какое, ах, какое
Я вам подам жаркое!

Долго она еще их собирается тут томить? «Наше время. Мы сами». Это они прочитали в программке. Прочитали и дальше: «Вырученные деньги поступят в фонд средств для проведения электричества в церкви». И где она, эта церковь? Ах, вон там. Шпиль виден из-за деревьев.

«Мы сами». Каждый опять уткнулся в программку. Но что она про нас знает? Про елизаветинцев

— да, про викторианцев — пожалуй, но про нас, нас самих, как мы тут сидим, сейчас, в июньский день 1939 года? — просто смешно. «Я» на этой сцене — нет, невообразимо. Другой кто-нибудь, ну, почему бы нет… Коббет из Коббс-корнер, майор, старый Бартоломью, миссис Суизин — эти куда ни шло. Но меня ей не раскусить, нет. Зрители нервничали. Смех летел из-за кустов. И ничего решительно не происходило на сцене.

— И чего она нас тут мурыжит? — возвысил недовольный голос полковник Мэйхью. — Раз время нынешнее, кажется, незачем и переодеваться.

Миссис Мэйхью с ним согласилась. Если, конечно, она не планирует на закуску большой парад. Армия, флот, Юнион Джек, а за ними за всеми — лично миссис Мэйхью так бы распорядилась, будь она режиссером, — за ними за всеми — Церковь. Из картона. Одно окно на восток, и так ярко-ярко освещено, как символ всего, всего… ну, тут еще со временем можно обдумать.

— Вон она там, за березой! — Она шепнула, кивая на мисс Ла Троб.

Мисс Ла Троб там стояла, упершись взглядом в рукопись. «После Викт. — было намечено в рукописи, — попроб. 10 мин. наст. врем. Ласточ.,

коровы и проч.» Она хотела их, можно сказать, как душем обдать реальностью текущего часа. Но опыт, кажется, не удался. «Реальность им не по зубам, — она бормотала. — А-а-ах, да ну их всех к черту!» Разве влезешь в их шкуру! Разве на публику угодишь! О-о, написать бы пьесу без публики, настоящую пьесу! Но зрители — вот они, тут сидят. И с каждой минутой расслабляют поводок. Номер не прошел. Опыт не удался. Сейчас бы сюда задник, повесить между березами, выгородить коров, ласточек, настоящее время! Но задника нет у нее. И музыку она отменила. Царапая ногтями кору, она костерила публику. Ужас, ужас. Кровь будто капает из башмаков. Смерть, смерть, смерть, помечала она у себя на полях рассудка, когда подвела мечта. Она стояла, смотрела на публику, не в силах рукой шевельнуть.

И вдруг — грянул дождь, ливень как из ведра.

Никто не заметил, как подкатила туча. И вот она — черная, взбухшая, повисла над головами. Лило, лило, лило, лило так, будто все люди на свете расплакались разом. Слезы, слезы, слезы.

— Ох, если б на этом кончились все наши муки! — пробормотала Айза. Глянула вверх, и две тяжелые блямбы ей угодили в лицо. И потекли по щекам, как слезы. Слезы всех, всех, всех — над

всеми. Кто-то заслонялся рукой. Там и сям распускались зонтики. Дождь грянул, накрыл все и вся стеной. И — перестал. Дохнуло свежестью, пахнуло землей от травы.

— Вот так-то, — мисс Ла Троб перевела дух, смахивая со щек брызги. Снова природа взяла ее под защиту. Давая представленье под открытым небом, она шла на риск — и риск оправдался. Она взмахнула рукописью. Музыка! До-ре-ми, до-ре-ми. Мелодия проще простого. Но теперь, когда прошел дождь, заговорил другой голос, ничей голос. И голос, который плакал только что над человеческой болью, сказал:

Где король? На троне
Пишет манифест,
Королева в спальне…

— Ох, если бы на этом кончилась моя жизнь! — бормотала Айза (стараясь не шевелить губами). С каким бы счастьем отдала она этому голосу все, что есть у нее, лишь бы кончились слезы. Изгиб звука, самый простой, может из нее веревки вить. На промокшую землю, на этот алтарь она сложит свою жертву… — Ой, посмотрите! — крикнула она вдруг.

Лестница. И (грубо подмалеванный холст) —

стена. И человек, взваливший на спину бак с известкой. Мистер Пейдж, репортер, послюнил карандаш и отметил: «Использовав весьма скромные подручные средства, мисс Ла Троб представила публике Цивилизацию (стену) в руинах, восстанавливаемую (см.: работник с известкой) трудом человека, (см. также: женщина, подносящая кирпичи). Просто, как апельсин. Далее появляется некто черный в курчавом парике, и, опять же, некто, уже кофейного цвета, в серебристом тюрбане, по всей видимости, олицетворяют собой Лигу…»

Взрыв аплодисментов накрыл эту лесть нам самим. Грубую, впрочем. Но мисс Ла Троб приходилось считаться со скудостью средств. Подмалеванный холст говорил, вероятно, о том же, о чем «Таймс» и «Телеграф» сегодня говорили в передовицах. А музыка пела:

Где король? На троне
Пишет манифест,
Королева в спальне
Хлеб…

И вдруг оборвалась. Изменилась. Вальс, что ли? Знакомая музыка, нет?.. И под нее пляшут ласточки. Кругами, кругами, туда-сюда. То близкие,

то дальние. Настоящие ласточки. А деревья, о, деревья важны и строги, как сенаторы на совете, как просторные колонны собора… Они делят на такты музыку, складывают ее, множат, а все текучее оберегают от перетеканья. Ласточки — или это стрижи? — Сриж, обитатель храмовых карнизов[51] — вот, летят, как всегда, всегда летали… И, притулясь к стене, словно предвещают то, что, в сущности, вчера уже предугадывала «Таймс». Дома будут строиться. В каждой квартире будет свой холодильник на обветшалой стене[52]. Человек освободится, посуду будет мыть машина, аэропланы не будут нарушать тишину, все свободны, все станут единым целым…

Мелодия подсеклась, надломилась, вильнула. Фокстрот, что ли? Джаз? Какой-то ломкий, рваный и странный ритм. И шум, звон, грохот! Ну, при таких куцых средствах, положим, чего же вы ждали? Ох, ну какофония! Взрыды, взбрыки, вздрыги! И конца не видно. Нет, неприятно. Отвратно. Просто обидно, оскорбительно даже. Ерунда какая-то. Очень современно, конечно, тут

---

[51] Примечания: 51

У. Шекспир. Макбет. Акт 1, сц. 4 (пер. Ю. Корнеева).

[52] Примечания: 52

Перефразирована первая строка, давшая название стихотворению Альфреда Теннисона (1809–1892) «Цветок на обветшалой стене».

ничего не скажешь. Да зачем это все? Цель какая? В этой рыси? Прыти? Против рожна переть? Нам нос утереть? Играть с нами в прятки? В жмурки? Ну и наглость у поколения, которому — слава тебе господи! — недолго ходить в «молодых». Молодежь! Строить ничего не умеют, только ломать: на щепу разносить всеми признанное, расщеплять на атомы целое. Трам-тарарам, бух, стук — дятлу впору, насмешливой птице, мотающейся с вяза на сосну.

Смотрите-ка! Вон, из кустов выходят — черт-те кто. Дети? Эльфы? Бесенята? А в руках? Банки? Склянки? Жестянки? Плошки? Ой, держите меня! Стенное зеркало из пасторского дома. А это уж мое — сама ей дала. Мамино. Треснутое. Какая цель? Все, что блестит. Отражать? Показать? Уж не нас ли?

Нас! Нас!

Все ерзали, вертелись, вскакивали. Вспышки, блеск, слепящие, пляшущие лучи. А-а, старый Барт… попался. А-а, Манреза. Чей-то нос… Чья-то юбка… Брюки сами по себе… Лицо, кажется… Мы сами? Но это грубо. Выхватить, выдернуть, не дав времени себя привести… И, главное, вот так, частями… Вот что особенно обидно, досадно и ужасно несправедливо.

Мерцая, играя, сверкая, зеркала клонились, качались, ловили, изобличали. В задних рядах вставали, чтоб получить свое удовольствие. И, тут же попавшись, плюхались на место. Какой кошмар — когда тебя вдруг выставляют на всеобщее обозрение! Даже для стариков, которым давно бы пора, кажется, наплевать на свою наружность… И — силы небесные! Этот блеск, плеск, треск, шум и гам! Коровы и те включились. Обнаглев, они дико хлестали хвостами и, нарушая скромность природы, преступали барьеры, отъединяющие Человека, Хозяина — от Твари. Ой, и собаки туда же. Шум, гам, тарарам, вот они и заявились! Поглядите на них! А этот, афганский-то пес… ой, поглядите на него!

И тут опять, когда стало твориться совсем уже черт-те что, смотрите-ка, по знаку мисс Как-бишь-ее-там, за березой, — или это сами они рванули — из-за кустов явились Королева Бесс, Королева Анна и та девушка с Мэлла, и Век Разума, и Бадж-полисмен. Все явились. И паломники. И влюбленные. И напольные часы. И старик с бородой. Все-все-все. И мало им этого — каждый произносил отрывок из своей роли… *Боюсь, я не совсем в своем уме* (кто-то говорил)… *Кто-то еще: Я Разум… А я? Старый цилиндр… Мотивчик песни*

путевой, «Ах за рекою, за горой»[53]*. Домой, домой. Домой? Где мается бедняк и где шутя живется богачу…*[54] *Была бы воля, путь найдется… Я предлагаю вам руку и сердце… Задумчив и один спешу як роще той…*[55]

…Быть бы мне бабочкой… быть бы мне бабочкой… Откуда ты, кинжал, возникший в воздухе передо мною…[56] *Вот, папочка, твоя книга, ты почитай нам вслух… Где король?на троне…*

Это стенное зеркало оказалось почти неподъемным. На что уж мускулы у младшего Бонтропа, а больше он был не в состоянии дергать проклятую штуковину. Он и перестал. И остальные тоже — ручные зеркальца, банки, тазы, черепки, осколки и зеркала в витой серебряной оправе — все разом перестали прыгать. И зрители увидели самих себя, ну не целиком, конечно, но в спокойно сидячих позах по крайней мере.

Стрелки часов отметили настоящий миг. Итак

---

[53] Примечания: 53

Роберт Луис Стивенсон. Путевая Песня (пер. В. Рогова).

[54] Примечания: 54

Ср. у У. Шекспира «Тоска смотреть, как мается бедняк, И как шутя живется богачу». Сонет 66 (пер. С. Маршака).

[55] Примечания: 55

Т. Мур. Ирландские мелодии (пер. И. Козлова).

[56] Примечания: 56

У. Шекспир. Макбет. Акт 2, сц. 1 (пер. Б. Пастернака).

— сейчас. Мы сами.

Так вот она что задумала! Выставить на посмешище нас всех, как мы есть, здесь и сейчас! Все ерзали, ежились и вертелись, поднимали руки, возили ногами. Даже Барт, даже Люси отворачивались. Кто пригибался, кто прятал лицо в ладонях — кроме миссис Манрезы, которая, глядя в это зеркало, использовала его как зеркало, вытащила пудреницу, прошлась по носу пуховкой и поправила локон, потревоженный ветерком. — Сногсшибательно! — крикнул старый Бартоломью. Единственная, она, не смущаясь, оставалась собой и, глазом не моргнув, на себя смотрела. И спокойно подводила губы.

Зеркалоносцы опустились на корточки: зловредно, наблюдательно, выжидательно, демонстративно.

«Попались», — хмыкали в задних рядах. «Неужто мы будем безответно терпеть это хамство?» — спрашивали в передних. Каждый отворачивался, якобы сообщить — что первое придет на язык — своему соседу. Каждый норовил уклониться чуть-чуть от испытующего, наглого взгляда. Кое-кто порывался уйти.

— Представленье окончено, я так понимаю, — сказал полковник Мэйхью, берясь за шляпу. —

Давно пора…

Но прежде чем вызрело общее решение, прорезался голос. Чей — абсолютно неизвестно. Раздался из-за кустов — мегафонный, безымянный, гулкий и твердый голос. И он сказал:

– Прежде чем нам расстаться, леди и джентльмены, прежде чем расходиться… (те, кто поднялся, сели) *давайте поговорим просто, прямо, без ужимок и уловок, без прикрас и выкрутас. Сломаем ритм, отбросим рифмы. Спокойно присмотримся к себе. Вот мы. Кто жирный. Кто худой.* (Зеркала это подтверждали.) *Обманщики по большей части. И воры.* (Зеркала воздерживались от комментариев.) *Бедняк ничем не лучше богача. А той хуже. Не надо прятаться под рубищем. И хвастаться нарядом. Равно как чтеньем книг или виртуозностью на фортепьяно, или владеньем кистью. И нечего ссылаться на невинность детских лет. Смотрите на овец. На верность любящих. Смотрите на собак. На добродетель тех, кто дожил до седых волос. Подумайте о тех, кто палит из пушек, кто бросает бомбы. Они совершают явно то, что мы творим втайне. Вот, предположим,* (тут мегафон вдруг перешел на будничный, интимный тон) *одноэтажка мистера М. Навеки испоганенный пейзаж. Это убийство…*

Или помада миссис Е., кроваво-красные ногти… Тиран, возьмите это на заметку, наполовину раб. Или, предположим, тщеславие мистера Х, романиста, разгребающего горы дерьма ради грошовой популярности. Или любезная снисходительность, изысканные манеры богатой дамы из высшего общества. А она скупает акции на бирже и перепродает!.. О, все мы одним миром мазаны. Меня возьмите. Разве избегну собственного порицанья, взывая к вашему негодованью, сидя в кустах, среди листвы? То-то и оно, опять меня на рифмы повело, хоть и стремлюсь к их отрицанию и, нужно сделать вам признание, имею в некотором роде кой-какое образование. Взгляните на себя, леди и джентльмены! А потом на эту стену. И задайтесь вопросом, как эта стена, великая стена, которую, пусть ошибочно, мы именуем цивилизацией, может быть воздвигнута (зеркала опять задергались, запрыгали, засверкали, замигали) *такими ошметками, оскребышами, последышами, отрывками, обрывками, каковы мы с вами? Здесь, однако, я перехожу* (ритма ради, прошу заметить) *к более возвышенным материям — тут много чего можно сказать: о нашем кошколюбии; заметьте также в сегодняшней газете: «Горячо любим своей супругой»; и о том*

порыве, который толкает нас, — когда никто не видит, прошу заметить, — к полночному окну, вдыхать душистый аромат горошка. Или о том, как прыщавый жалкий оборванец наотрез отказывается продавать свою душу. Такое водится. Не станем отрицать. Что? Вы не желаете рассматривать?.. Вам показывают только ошметки, обрывки, отрывки, вас дробят? А, тогда ладно, слушайте граммофон…

Но тут застопорило. Пластинки перемешались. Фокстрот, «Лаванда», «Родной уютный дом», «Правь, Британия!» — обливаясь потом, Джимми, приставленный к музыке, их отметал, выискивая подходящую — Баха, что ли, Генделя, Моцарта, Бетховена или вообще никого не знаменитого, просто народную песню? Все равно, слава тебе господи, хоть человеческую речь послушать, после блеянья проклятого громкоговорителя.

Как стекаются ртутные капли, как тянутся к магниту железные опилки, так собрало рассеянных. Началась музыка, первая нота влекла вторую, вторая — третью. Но вот на глубине рождается противовес: еще, еще. На разной глубине проходит расслоенье. Из недр мелодии, из разных ее слоев, вперед выходим мы: кто поверху цветы сбирает, кто вглубь спускается, чтобы сра-

зиться со смыслом — все включены, все на учете. Все, закатившиеся давным-давно за край души, восходят скопом; и хляби разверзаются; встает восход; горит лазурь; и какофония рождает меру; не только ход звука ее блюдет, нет, воины в плюмажах, прочь рвущиеся из цепкой хватки. Чтоб разойтись? Нет. Призванные с горизонтов дальних, отозванные от страшных пропастей земли, они схватились, слились, они соединятся.

Кто-то уже расслабил пальцы, кто-то расправил ноги.

Так, значит, этот голос — мы? Последыши, обрывки, ошметки? Голос замер.

Как обнажает, отбежав, волна, как открывает туман, растаяв, так, подняв глаза (у миссис Манрезы они были мокрые, на минутку слезы подпортили макияж), все увидели — как волна, отбежав, демонстрирует нищий стоптанный башмак, — что на ящик из-под мыла взбирается тишком господин в пасторской столе.

«Его преподобие Д. У. Стретфилд, — репортер послюнил карандаш и отметил, — затем сказал…»

Все на него уставились. Как он невыносимо все обузил, сжал, скукожил, на смех курам! Ничего глупей, чем священник в атрибутах своего служенья, сейчас произносящий резюме, даже себе

представить невозможно! Он открыл рот. О господи, пронеси, спаси и сохрани от лишних слов, нечистых слов! Да и чему нас сейчас поучать?

Как будто грач украдкой скакнул на заголившуюся ветку, он, оглаживая столу, хрипло гаркнул в качестве вступленья.

Лишь один факт смягчал этот кошмар, привычно воздетый перст был желт от табака. Да он же очень даже ничего, его преподобие Д. У. Стретфилд, примелькавшийся предмет церковной утвари, угловой комод, резные вереи ворот, поколениями местных плотников возводимые к зарытому в пыли веков античному лекалу.

Он оглядел публику, потом воздел взор к небу. Всем, благородным и простым, стало неловко, за него, за себя. Стоит — глашатай, предстоятель, символ, мы сами, шмот, кус осмеянного зеркалами, коровы его знать не знают, тучи его осуждают, величаво потягиваясь в вышине и перекраивая небесный пейзаж, столб, свая, всаженная в тихое струенье летнего, молодого мира.

Первых слов (поднялся ветер, шелестели листья) никто не слышал. Потом он сказал: «Какой». К этому слову он пристегнул второе — «смысл», и наконец-то родилась законченная фраза, не очень-то понятная, но слышная хотя бы. «Какой

смысл, — он, что ли, спрашивал, — вкладывался в это представление?»

Все привычно сложили руки крышей, будто сидели в церкви.

— Я все спрашиваю себя, — завел он снова, — какая мысль, какая идея предложена нам этим представленьем?

Ну, если уж он не понимает, это магистр и преподобие, так кто ж тогда поймет?

— Как один из зрителей, — он продолжал (наконец-то понятно заговорил), — я могу предложить мое скромное, ибо я не критик, — он коснулся белых шлюзных врат, замкнувших шею, желтым пальцем, — сужденье. Впрочем, и это смело сказано. Высокоталантливая леди… — Он пошарил глазами. Мисс Ла Троб не обнаружилась. — Говоря всего лишь как один из зрителей, признаюсь, я был озадачен. Для чего, спрашивал я себя, нам показали эти сцены? Со всей возможной краткостью, впрочем. В нашем распоряжении сегодня были весьма умеренные средства. Однако нам показали различные группы. Нам показали, если я не заблуждаюсь, непрестанные усилия. Мало избранных, многие остаются за бортом. Это нам, без сомненья, показали. Но вдобавок — разве не дали нам понять… но не чересчур ли я самона-

деян? Нескромен? Не слишком ли много на себя беру? Но мне, по крайней мере, дали понять, что все мы связаны. И каждый — часть целого. Да, это мне открылось, покуда я сидел в рядах и смотрел вместе со всеми вами. Не прозреваю ли я в сэре Джоне, — он на него указал, — викинга былых времен? А в леди Карган — простите, если что напутал — кентерберийскую паломницу? Нам отведены разные роли, но мы все — одно. Впрочем, оставляю вам решать. К тому же, пока шла пьеса, внимание мое бывало отвлекаемо. Быть может, это предусмотрено мыслью режиссера? Но я, мне представляется, постиг, что природа принимает во всем участие. И вправе ль мы, я спрашивал себя, сводить всю жизнь только к нам самим? Не лучше ли принять за данность, что существует Дух, который объемлет, животворит, путеводит и проникает… — Над ним кружили ласточки. В знак подтвержденья? Потом умчались прочь. — Решайте сами. Я здесь не для того, чтоб объяснять. Мне не отведена такая роль. Я говорю лишь как один из публики, один из вас. Я тоже был отражен — в собственном, кстати, зеркале… — Смех. — Последыши, ошметки и обрывки! Конечно, мы должны объединиться?

Но… — «Но» помечало завершенье темы и пере-

ход к другой. — … я говорю еще и в ином качестве. Как казначей. В каковом качестве, — он сверился с бумажкой, — я рад возможности вам доложить, что сумма в тридцать шесть фунтов десять шиллингов и восемь пенсов была собрана вследствие сегодняшнего праздника на предназначенную цель: освещение нашей любимой старой церкви.

«Аплодисменты», — рапортовал репортер.

Мистер Стретфилд помолчал. Послушал. Может, слышал дальнюю музыку?

И продолжал:

— Но недостает еще, — он сверился с бумажкой, — ста семидесяти пяти фунтов стерлингов. И каждый, кто наслаждался представлением, имеет еще воз… — Слово преломилось надвое. Грохот его рассек. Двенадцать аэропланов, в безупречномпо строенье, как стая диких уток, летели у них над головой. Вот она — музыка! Публика глаза открыла, публика разинула рты. Грохот стал рокотом. И пролетели аэропланы. — …можность, — продолжал мистер Стретфилд, — внести свою лепту. — Он подал знак. Тотчас в дело пошли кружки для сбора денег, ящички, коробки. Явились из-за укрытия зеркал. Гремела медь. Звенело серебро. Но тут — ах, право, как это досадно! — вылез Алберт-идиот, позвякивая своей копилкой

— какой-то оловянной плошкой. Ну как ему, убогому, откажешь? Аж шиллинги бросали. Он хмыкал и гремел, болтал, хихикал. Когда миссис Паркер сделала свой взнос — полкроны, между прочим, — она воззвала к мистеру Стретфилду, чтоб он исторгнул это зло, воспользовавшись силой сана.

Добрый человек смотрел на идиота со снисхожденьем. Вера его вмещает, давал он понять, и этого Алберта. Он тоже, как бы говорил мистер Стретфилд, — часть нас самих. Но не такая часть, которую приятно признавать, — про себя добавила миссис Спрингет, бросая свой шестипенсовик.

Рассматривая идиота, мистер Стретфилд потерял нить, как бы утратил власть над словом. Теребил крест на часовой цепочке. Потом рука его потянулась к брючному карману. Тихонько извлекла маленькую серебряную коробочку. Всем стало ясно, что естественная потребность одолела человеческое естество. Тут слова бессильны.

— А теперь, — начал он опять, лелея на ладони зажигалку, — перехожу к приятнейшей части моего долга, Я предлагаю сообща поблагодарить одареннейшую леди… — Он озирался, выискивая объект, соотносимый с этим определеньем. Такового в поле зрения не оказалось. — Которая,

кажется, пожелала остаться неизвестной. — Он помолчал. — Итак… — Он снова помолчал.

Трудный момент. Как завершить? Кого благодарить? Стали болезненно слышны все звуки: свист веток, глотки коров, даже лёт ласточек над самой травой — все стало слышно. Никто, однако, не говорил. Кого винить? Кого благодарить за развлеченье? Неужто некого?

И вот зашуршало за кустами; подготовительный, разгонный скрип. Игла скребла пластинку, ж-ж-ж, потом, попав в бороздку, с раскатом, с трепетом, произвела — *Боже…* (все встали) *храни Короля.*

Публика, стоя, смотрела на артистов, те тоже стояли неподвижно — копилки не бренчат, припрятаны зеркала, застыли складки отыгравших роль костюмов.

Сильный и славный,
Царствуй над нами.
Боже, храни Короля.

И замерли ноты.

Конец? Артистам не хотелось уходить. Они мешкали, мялись. Бадж-полицейский болтал со старой королевой Бесс. Век Разума запанибрата шушукался с передней частью осла. И миссис

Хардкасл разглаживала складки кринолина. И маленькая Англия, ребенок он и есть ребенок, сосала мятные леденцы из кулечка. И каждый все-таки доигрывал неконченную роль по воле своего костюма. Красота их окутывала. Красота их раскрывала. Может, это все свет? — дымный, томный, не пытливый, но проникающий свет вечера, который вскрывает глубину воды и даже пошло кирпичную одноэтажку одевает сияньем?

— Смотрите, — шептались в публике, ой, смотрите, смотрите, смотрите, — и снова хлопали, и артисты складывали ладони и кланялись.

Старая миссис Линн Джонс, нашаривая сумочку, вздыхала:

— Какая жалость — им надо переодеваться? Но пора была собираться и отправляться восвояси.

— Домой, джентльмены, домой, леди, пора собираться, — репортер присвистнул, схватывая резинкой свой блокнот.

Но миссис Паркер все стояла, не разгибаясь.

— Я тут, по-моему, перчатку уронила. Так не хочется вас беспокоить. Вот там, под стульями…

Граммофон заявлял в тонах, не терпящих возраженья, победно, хоть прощально: *нас разбросало, тех, кто шел гурьбой. Но,* — уверял граммофон, — *надо, надо, давайте же беречь то, чем гармо-*

ния нас одарила.

Давайте, давайте, — эхом откликалась публика (наклоняясь, нашаривая, высматривая), — держаться вместе. Ах, на миру и смерть красна.

И, оглянувшись, они видели — окна горят закатной позолотой, и бормотали: «домой, джентльмены, домой, дом, дом, родной, уютный…», но уходить не очень-то хотелось, быть может, сквозь позолоту проглядывала трещина в котле, дыра в ковре; и слышался, возможно, отзвук того, как ежедневно накрапывает по счетам.

Нас разбросало, — сообщил граммофон. И с ними на том простился. И, в последний раз потянувшись, каждый хватался за шляпу или, скажем, за пару замшевых перчаток, и в последний раз они хлопали Баджу и королеве Бесс, березам, белой дороге, Болниминстеру, Капризу. Окликали друг друга на ходу, но уже их разбросало и несло по аллеям, лужайкам, мимо дома к мощеному полукружью, где машины, мотоциклетки и велосипеды, столпившись, ждали их.

Знакомые на ходу окликали друг друга.

— По-моему, — кто-то говорил, — этой мисс Как-бишь-ее-там самой бы выйти, чем пастора утруждать… она же это сочинила… По-моему, умная — жуть… Ах, милая, по-моему, все полный

бред. А вы ухватили смысл? А вы сами — ухватили? Ну, он сказал — все мы играли роли… Но он же, если не ошибаюсь, сказал, что и природа тоже играла… А уж этот идиот… Да, и почему вооруженные силы не показаны, правильно мой муж говорит, ведь это же история? И если единый дух все животворит, куда вы денете аэропланы?.. Нет, ну зачем так много требовать. В конце концов, какая-то сельская постановка… Я лично считаю, надо бы хозяевам сообща принести благодарность… Когда праздник был у нас, трава до осени не оправилась… Мы, правда, тенты ставили… А этот, Коббет из Коббс-корнера, — все призы на всех выставках отхватывать. Я лично этого не понимаю: призы за цветы или там за собак…

Нас разбросало, — ликовал граммофон, и сетовал: *нас разбросало*

— Ты учти, — рассуждали кумушки, — средства у них какие были? И как ты об эту пору народ на репетицию загонишь? Ведь сенокос у них, уж про киношку я молчу… Нет, что нам надо, так это центр какой-то, чтоб где-то нам встречаться… Слыхала, Бруки в Италию поехали, несмотря на все эти дела? Зря ты так считаешь?.. Если случится самое плохое — ох, не дай бог, тьфу-тьфу — сказали, наймут аэроплан… Я помирала со

смеху, когда старый Стретфилд полез в карман… А мне даже нравится, когда человек ведет себя по-свойски, не пыжится, не то что вечно на ходулях… А эти голоса из-за кустов?.. Оракулы? Ты это про греков? Кажется, эти оракулы, я извиняюсь, предсказывали нашу собственную веру? Что-что?.. На каучуковом ходу? Практично… Ноские, и для ноги полезно… Да, так я что хотела сказать — не могла бы христианская вера чуть приспосабливаться к обстановке? Хотя бы в такие времена… В Лартинге ни одна живая душа в церковь не ходит… У них собаки, у них киношка… И чудно, наука, мне говорили, все делает (ну, как это сказать?) духовней, что ли… А недавно что открыли? я слыхала — не бывает, оказывается, совсем уж твердых тел… Вот там из-за деревьев церковь видно, гляди…

— Миссис Амхелби! Ах, как я рада! Вы непременно должны с нами отобедать… Нет, увы, мы едем обратно в город. Сессия парламента… Я вот им рассказывала, Бруки поехали в Италию. Видели вулкан. Восхитительное зрелище, говорят — им повезло — во время изверженья. Согласна — дела на континенте очень неважные. И что такое наш канал, только себе представьте, если они вздумают нас захватить? А эти аэропланы,

уж я не хотела говорить, наводят на таки-и-ие мысли… Нет, по-моему, так себе, слишком пестро. И, скажем, этот идиот. Ну разве что она хотела показать скрытое, бессознательное, как это теперь модно? Но зачем во все совать секс… Ну конечно, в каком-то смысле, тут я согласна, все мы еще полные дикари. Эти особы с красными ногтями. И разодеты — ну что это такое? Нет, сидит еще в нас древний дикарь, сидит… А этот колокол. Бим-бом. Бим… Он же совсем надтреснутый и дряхлый, этот колокол. А зеркала! Нас отражать!.. Нет, вышло безобразие. Чувствуешь себя полной дурой, когда попадешься без предупрежденья… А вот и мистер Стретфилд, идет служить вечерню, надо думать. Поторопился бы, а то облачиться не успеет… Она хотела показать, что все мы играем роли, так он считает. Да, но в какой пьесе? Вот в чем вопрос! И если все мы так и будем задавать вопросы, пьеса провалится с треском, не правда ли? Нет, лично я, должна признаться, предпочитаю знать, когда хожу в театр, что поняла идею… Или она и хотела показать… Бим-бом… бим… что если мы не будем торопиться с выводами, если вы хорошенько подумаете и я подумаю, то когда-нибудь наши взгляды совпадут?

— А вот и милый мистер Карфакс… Хотите, мы

вас подбросим, если вы не против, в тесноте да не в обиде? Мы вот все рассуждаем, мистер Карфакс, насчет этой пьесы. Зеркала, например, — они что? означают, что отраженное — мечта; а музыка — Бах, Гендель, ну я не знаю — есть истина? Или наоборот?

О господи, да что же это такое! Никто не может найти свой автомобиль! Вот почему я «обезьянку вешаю… Но что-то я ее не вижу… Ну вот, пока мы ждем, вы мне скажите, когда дождь полил, вам тоже показалось, что кто-то плачет над нами? «Слезы, слезы, слезы». Есть стихи такие, там еще дальше… «неодолимый океан»… м-м, нет, не помню.

— Только мистер Стретфилд сказал: единый дух все животворит — и тут эти аэропланы. Вот главный минус, когда играют под открытым небом… Конечно, если только это не входило в ее замысел… О господи, стояночкаявно не ахти… Однако! Вот не ожидал увидеть такую бездну «роллсов»… «испано-суиза»… Тут тебе и… И «бентли»… Ого, и «форд» последней модели… Да, так возвращаясь к этому смыслу пьесы, — автомобили, они исчадья ада или они привносят диссонанс… Бим-бом, бим… который нас и ведет к финалу… Бим-бом… Да вот же автомобиль с обезьянкой… Ну, давай-

те… И до свиданья, миссис Паркер… звоните нам. В следующий раз, когда мы будем тут, не забывайте… В следующий раз… В следующий раз…

Колеса шуршали по гравию. Автомобили разъезжались.

Граммофон проблеял: *Единство — Разъединенье.* Проблеял: *Ед… Раз…* — и смолк.

Маленький кружок, сошедшийся за ленчем, остался на террассе. Паломники тут вытоптали траву. Лужок придется тоже основательно убрать. Завтра будет разрываться телефон: я сумочку свою у вас не забыла?.. Очки в красном сафьяновом футляре?.. Брошка старая, кроме меня, никому даром не нужна?.. Завтра будет разрываться телефон.

Сейчас мистер Оливер сказал:

— Ну, дражайшая, — и, взяв миссис Манрезу за руку в перчатке, ее пожал, как будто говоря: «Вы мне подарили кое-что, а теперь вот отнимаете». Он бы подольше задержал в руке рубины и бриллианты, накопанные, говорят, хилым Ральфом Манрезой в дни оборванства. Но, увы! Закатный свет был с макияжем не в ладах: краски сделались как бы отдельными, как накладными. И он выпустил ее руку, и она ему задорно, лихо подмигнула, как будто говоря… конец фразы, однако, был

отрезан. Потому что она повернулась, и подоспел Джайлз, и ветер, предугаданный сейсмологами, расколыхал ей юбку, и она стронулась с места и поплыла, как будто богиня плывет, победна и легка) сгребает пленников цветочной цепью и тянет за собою по воде.

Все уходили, все удалялись, все ушли, а он остался, и огонь выгорел дотла, только зола, зола, и нет жара, и нет жара в полене. Какое слово передаст сердечный перепад, кровоизлияние в сосудах, когда Манреза, уплывая в сопровожденье Джайлза, прелестнейшая женщина, пир чувств, вспорола старое чучело, и опилки ливнем хлынули из его сердца?

Старик издал горлом какой-то странный звук и двинулся направо. Поковыляем, поплетемся — кончен бал. Он брел между берез, один. Вот тут, на этом самом месте утром — расстроил малыша. Выскочил с этой газетой, малыш заплакал.

Внизу, в лощине, у пруда с кувшинками, переодевались актеры. Он их видел сквозь растрепанную куманику. В штанах, жилетках; рассупонивались, застегивались; на четвереньках; пихали вещи в дешевенькие ранцы; серебряные мечи, рубины, бакенбарды валялись по траве. Мисс Ла Троб в пиджаке и юбке, чересчур короткой при

таких-то ногах бутылками — укрощала всхлест кринолина на ветру. Следует уважать условности. И он остановился у пруда. Вода была матовая над грязью.

Тут сзади подошла Люси, спросила:

— Может быть, надо ее поблагодарить? — И легонько его потрепала по плечу.

Какой нечуткой сделала ее эта религия! Запах ладана отшибает чутье, дым застит сердце. Витая в облаках, она не видит, какая драка идет в грязи. После того как викарий угробил эту Ла Троб своим докладом, как ее мяли и рвали по живому артисты…

— Ей наша благодарность не нужна, Люси, — сказал он хрипло. — Все, что ей нужно, как вот карпу этому… — Что-то плеснуло в воде. — …темнота и тина, виски с содовой и паб, и брань, которая, как вот личинки, уходит в воду. — Это уж артистов надо благодарить, не автора, — он сказал, — да и нас, зрителей.

Он глянул через плечо. Леди, исконную, доисторическую леди, в коляске увозил лакей. Провез под аркой. Теперь лужок пуст. Крыша плывет навстречу. Гребя трубами по вечерней сини. Снова он здесь — дом; дом, который отменили. Какое счастье, что все это кончилось к чертовой матери

— вся эта суетня и толкотня, все эти перстни и румяна. Он нагнулся, поднял роняющий лепестки пион. И снова — одиночество. И здравый смысл, газета в круге лампы… Но где моя собака? В конуре, на цепи? На висках у него вздулись и задрожали жилки. Он свистнул. И, освобожденный Кэндишем, через лужок, с пеной в ноздрях, примчался его Зораб.

Люси смотрела и смотрела на пруд с кувшинками. «Все-все ушли, — она бормотала, — за ту листву». Рыба попряталась, вспугнутая колыханьем теней. Люси смотрела на воду. Рассеянно поглаживала крестик. Глаза блуждали по воде, выискивали рыбу. Кувшинки смыкались: белые, красные, каждая на своем лиственном блюде. Вверху струился воздух, внизу вода. И, стоя между двух этих текучестей, она поглаживала крестик. Вера требовала долгого стоянья на коленях ранней ранью. И часто взгляд, разгулявшись, ее смущал соблазном: вот тень, вот луч. Тот зубчатый листик фасоном напоминает Европу. Их здесь такая бездна. Она забегала глазами поверху, давая названья листьям — Индия, Африка, Америка. Острова покоя, лоснистые, густые.

— Барт… — Она с ним заговорила. Хотела спросить насчет стрекоз… может эта синяя прелесть

где-нибудь осесть, если ее прогнать оттуда, потом оттуда? Но он же в дом ушел.

Вот в воде кто-то вспыхнул плавниками. Любимый карасик. А вот и золотистый язь. Потом блеснуло серебро — великий карп собственной персоной, а он так редко подплывает к поверхности. Скользят, среди водорослей, серебряные, красные, золотые, в крапинку, в полосочку, в яблоках.

— Мы сами, — она пробормотала. И, зачерпнув проблеск веры из серых вод, с надеждой, не слишком полагаясь на разум, провожала взглядом рыбок, красных, серебряных, в крапинку, в полосочку и в яблоках, и как-то такое прозревала — красоту, силу и славу в нас самих.

У рыб есть вера, она считала. Они нам доверяют, потому что мы их никогда не станем удить. Брат ей на это отвечал: «Им просто кушать хочется». — «Но они такие красивые!» — Она возмущалась. «Всё это нужды пола», — он отрезал. «Но кто сделал пол отзывчивым на красоту?» — Она не сдавалась. Он только плечами пожимал. Кто? Зачем? Смолкнув, она оставалась при своем: что красота — добро, море, по которому мы все плывем. Надежное обыкновенно, хотя, конечно, любое судно может и протечь?

Так он и будет нести свой этот факел разума, покуда не загасет во тьме сырой пещеры. Ну а она — каждое утро, на коленях будет отстаивать свое. И каждый вечер отворять окно, смотреть на листья в потухающем небе. Потом спать, спать. Потом ее разбудят обрывки птичьих фраз.

Рыбки подплывали к поверхности. Что же им дать? Ничего нет, ни хлебной крошки. «Вы подождите, мои миленькие», — она к ним адресовалась. Надо сходить попросить печенья у миссис Сэндс. Тут набежала тень. Рыбки мелькнули прочь. Ах, как досадно! Кто это? Боже ты мой, этот молодой человек, имя никак не вспомнить, не Джонс, не Ходок…

Додж решительно оставил миссис Манрезу. Искал миссис Суизин по всему саду. И вот нашел, а она забыла его имя.

— Это я, Уильям, — он сказал. И тут она оживилась, как девушка в саду, вся в белом, среди роз, бежавшая к нему навстречу, — не сыгранная роль.

— Я вот хотела за печеньем сбегать… нет, поблагодарить артистов. — Она запиналась, девически краснела. Тут был припомнен брат. — Мой брат, — добавила она, — говорит, что не нужно благодарить автора, мисс Ла Троб.

Вечно этот «мой брат… мой брат» лез из глубин кувшинкового пруда.

Ну а насчет артистов — Хэммонд уже снял усы и теперь застегивал пиджак. Вот цепочка от часов повисла среди пуговиц, и он ушел.

Осталась одна мисс Ла Троб и, наклонясь, что-то выискивала в траве.

— Представление окончено, — сказал Додж. — Артисты разошлись.

— Но нам не нужно, мой брат сказал, благодарить автора, — повторила миссис Суизин, кивая на мисс Ла Троб.

— Тогда я вас благодарю, — сказал он. Взял ее руку и пожал. В конце концов, едва ли им суждено еще когда-то свидеться.

Вечно эти церковные колокола запинаются, так что и не поймешь: будет еще нота? Айза, посреди лужка, вслушалась… Бим-бом, бим… Нет, дальше, кажется, не будет. Паства в сборе, на коленях, в церкви. Служба началась. Представленье кончилось; где была сцена, ласточки метут крыльями траву.

А вот и Додж, чтец по губам, ее подобье, заговорщик, искатель потаенных лиц. Поспешает за миссис Манрезой, которая ушла вперед с Джайлзом — «отцом моих детей», она пробормотала:

Да что же это такое! Вдруг плотский вал ее накрыл, и стало душно, тесно, темно в самой себе, как будто разом погасили свет. Чтоб залечить гнойник, распухший, след отравленной стрелы, она высматривала то лицо, весь день его искала. Щурясь, жмурясь, за спинами, из-за плеч высматривала человека в сером. Он как-то на теннисе ей подал чашку, подал ракетку. И все. Но, — кричало ее сердце, — встреться мы раньше, когда еще серебряным слитком, изогнутым посредине, не подпрыгнула та семга… встреться мы раньше, — кричало ее сердце. А когда ее сыночек пробивался в толпе в этом Сарае, «Будь он его сыном…» — она пробормотала…

И на ходу отщипнула горький листок с куста, как раз под самой детской. С дикого ломоноса. Роняя зеленое крошево вместо слов, ибо слова там не росли, и розы тоже, скользнула мимо заговорщика, подобья, искателя потаенных лиц, «как Венера, — наспех переводя, подумал он, — привязанная к своей жертве»[57] … и пошел за ней.

За поворотом был Джайлз во власти миссис Манрезы. Она стояла у дверцы своего автомобиля. Джайлз занес белую туфлю на подножку. Почуя-

---

[57] Примечания: 57

Додж кое-как переводит Расина. См. Расин. Федра. Акт 1, сц. 3.

ли они те стрелы, что в них вот-вот вонзятся?

— Валяй, Билл, залезай, — добродушно кинула Манреза.

И зашуршали колеса по гравию, и укатил автомобиль.

Наконец-то мисс Ла Троб смогла разогнуться. Долго она стояла так, чтобы никто не видел. Замерли колокола, зрители разошлись, актеры тоже. И можно распрямиться. И расправить плечи. И миру сказать: ты получил мой дар. Секунду она торжествовала. Но что она такое подарила? Облако, на горизонте тающее с другими вместе? Дарить — вот в чем радость. И завяла радость. Дар — никому не нужен. Ах, если бы до них дошла ее идея, если бы они понимали свои роли, если бы жемчуг был настоящий и побольше было выделено средств… — щедрее был бы дар. А теперь уйдет, растает, пропадет с другими.

— Провал, — она простонала и снова наклонилась, собирать пластинки,

И вдруг скворцы всей стаей атаковали ту березу, за которой стояла раньше мисс Ла Троб. Как будто закидали оперенными камнями. И вся береза задрожала, запела, от щебета, от звона, как будто каждый скворец щипнул струну. Береза гудела, свистала, щебетала, дрожала и чернела от

птичьих тел. Береза стала рапсодией, дрожащей какофонией, и щебет, щебет, щебет, захлеб листвы, ветвей и птиц, наперебой, враспев хвалящих жизнь-жизнь-жизнь-жизнь, без меры, без пощады ее терзали. И — рраз! Снялись! И улетели.

Что такое? Да старуха Чалмерс тащилась по траве с пучком цветов — гвоздик, конечно, — чтоб сунуть в вазу на мужней могиле. Зимой таскала остролист и плющ, а летом цветы. Она и вспугнула скворцов. И утащилась.

Мисс Ла Троб защелкнула замок и взгромоздила на плечо тяжелый чемодан с пластинками. Прошла через террасу, постояла под березой, где были скворцы. Вот тут она испытала триумф, отчаяние, восторг и униженье — все попусту. Где это все? Только и осталось — впадина от каблука среди травы.

Темнело. Тучи не мутили небо, и потому синь стала еще синей и зелень зеленей. Не стало никого вида — ни Каприза, ни шпиля Болниминстерского собора. Поле, просто поле, и все. Она опустила чемодан и стояла, смотрела на это поле. И что-то всплывало на поверхность.

— Я их поставлю, — она пробормотала, — вот тут.

И будет полночь, и двое, почти скрытые скалой.

Поднимется занавес. Какие будут первые слова? Но слова убегали, прятались за край сознанья.

Снова она взвалила на плечо тяжелый чемодан. И пошла напролом через лужок. Дом отдыхал, нить дыма загустевала над деревьями. И странно было, что земля, пожары роз и лилий, и безымянная белая кипень, и эти зеленые костры кустов — все остается твердым. И будто зеленые воды вскипают над землей, вот-вот тебя накроют. И она отчалила… и пустилась прочь от этих берегов — и, подняв руку, нашарила щеколду железной двери.

Теперь — закинуть чемодан к кухонному окну, уйти в кабак. После того скандала с актрисулькой, которая делила с ней ее постель и кошелек, все чаще хочется напиться. И все страшней торчать в своих стенах, одной. Ведь так недолго и нарушить какой-то их закон? Трезвости? Целомудрия? Или присвоить что-то не вполне свое?

На углу она наткнулась на старую миссис Чалмере, плетущуюся с мужней могилы. Старуха уставилась на мертвые цветы в своей охапке и по-хамски отворотила нос. Женщины из одноэтажек с красными гераньками вечно так себя ведут. Она — изгой. Самой природой отринутая от себе подобных. Хоть и накарябала на полях рукописи:

«Я раба своей публики».

Закинула чемодан в кухонное окно и шла, пока не завидела на углу красную занавеску в окошке паба. Там кров, чужие голоса и забытье. Взялась за ручку двери. Кислый дух стоялого пива кинулся навстречу, и гомон голосов. И сразу они смолкли.

Конечно, говорили про Командиршу, как они ее прозвали, — ах, плевать, плевать. Она взяла стул, села, сквозь дым разглядывай грубую мазню по стеклу — корова в хлеву, и петух, и курица. Потом поднесла стакан к губам. И стала пить. И слушать. Сор слов тонул в грязи. Ее клонило в сон, она клевала носом. Из грязи рождалось что-то. Слова всходили над не в подъем груженным немым волом, месящим грязь. Слова без смысла — дивные слова.

Тикали дешевые часы, дым застил картинки. Дым оседал на нёбе. Дым делал еще темней бурые куртки. Она их никого уже не видела, но все-таки они ей помогали, пока она сидела, растопырив руки и глядя в свой стакан. И вставало: полночь, горы, скала, две еле различимые фигуры. Вдруг на березу брызнули скворцы. Она поставила стакан. Она расслышала те, первые слова.

В низине, в Пойнз-Холле, убирали со стола в

столовой. Кэндиш витой щеточкой смел крошки, собрал лепестки, и наконец оставил семью за ужином. Представленье кончилось, чужие разошлись, и вот они одни — семья.

А пьеса все парила в небе сознанья — то близкая, то дальняя, но все же она была тут как тут. Макая малину в сахар, миссис Суизин смотрела пьесу. Потом сказала, отправляя в рот ягоду:

— Но что все это означало? — и прибавила: — Эти крестьяне, рыцари, этот идиот, — проглотила свою малинину, — и мы сами?

Все тоже смотрели пьесу: Айза, Джайлз и мистер Оливер. Каждый, разумеется, видел что-то свое.

Еще минутка, и она исчезнет за горизонтом, растает, как все другие пьесы. Мистер Оливер, на отлете держа сигару, сказал:

— Слишком замах большой, — и, поднеся к сигаре спичку, добавил: — Учитывая жалкие средства.

Уже она уплывала, сливалась с другими облаками, таяла. И Айза видела сквозь дым не пьесу, но разбредающихся зрителей. Кто уезжал в автомобиле, кто на велосипеде. Качались распахнутые ворота. Один автомобиль несся на розовую виллу в полях. Низко наклонные кусты акации метут

там крышу. Акация роняет лепестки на подъезжающий автомобиль.

— Эти зеркала и голоса в кустах, — сказала она. — Смысл? Какой смысл?

— Мистер Стретфилд попросил ее объяснить, а она не стала, — сказала миссис Суизин.

Тут, в разделенной на четыре кожуре, Джайлз поднес жене поблескивающий голым конусом банан. Она его отвергла. Он ткнул спичку в блюдце. Спичка погасла, фукнув в малиновом соку.

— Мы должны быть благодарны, — сказала миссис Суизин, складывая салфетку, — за погоду, она была чудная, только чуть покрапало.

И она встала, и Айза пошла за ней по коридору в гостиную.

Здесь никогда не опускали шторы, пока не делалась такая темь, что ничего не видно, и окна не затворяли, пока слишком холодно не становилось. Зачем гнать день, когда он еще тут стоит? Цветы сияют, птички щебечут. Вечером даже больше разглядишь — ничто не мешает, не надо рыбу заказывать, отвечать на телефонные звонки. Миссис Суизин остановилась у большой

картины — Венеция, школы Каналетто[58]. И кто там прячется за балдахином этой гондолы — женщина под вуалью или мужчина?

Айза смахнула со стола свое шитье и плюхнулась, поджав под себя ноги, в кресло у окна. Из раковины гостиной стала смотреть на летний сморкающийся мир. Люси, возвратившись из своего путешествия в Венецию, стояла и молчала. В стеклышках очков, разбившись надвое, горел один закат. Сверкнула серебром черная шаль. Вдруг, на миг, она стала трагической фигурой из совсем другой какой-то пьесы.

Потом заговорила своим обычным голосом.

— В этом году нам больше удалось сделать, чем в прошлом, — она сказала. — Но в прошлом году ведь дождь был.

— На этот год, в прошлом году, когда-то, никогда… — бормотнула Айза Солнце грело ей руку на подоконнике. Миссис Суизин убрала вязанье со стола.

— А ты, ты тоже это чувствовала, — она спроси-

---

[58] Примечания: 58

Джовани Антонио Каналь, известный под прозвищем *Каналетто* (1697–1768) — итальянский живописец, рисовальщик и гравер, наиболее известный представитель венецианской ведуты — жанра живописи и графики, особенно популярного в Венеции XVIII века. Работы в жанре ведуты представляет собой картину, рисунок или гравюру с детальным изображением повседневного городского пейзажа и знаменитых памятников архитектуры.

ла, — вот что он говорил: мы играем разные роли, но мы все одно?

— Да, — сказала Айза. — Нет, — она прибавила.

— Действительно. Да, нет. Да, да, да, да, — шуршало ласковое море.

Нет, нет, нет, — перечило оно. И старый башмак уже был виден на гальке.

— Последыши, обрывки и ошметки, — припомнила она из уже погасшей пьесы.

Люси было открыла рот, чтоб возразить, и нежно погладила свой крестик, но тут вошли мужчины. Она, как обычно, что-то щебетнула в знак привета. И подобрала ноги — чтоб место освободить. На самом деле места с лихвой хватало, и стояли большие кресла в чехлах.

И они уселись, облагороженные закатным светом оба. Оба переоделись. На Джайлзе был теперь черный пиджак и белый галстук (знак интеллигентного труда), что требовало — Айза опустила глаза на его ноги — лакированных туфель. «Наши представители, наши выразители», — хмыкнула она про себя. И все же — как он хорош собой. «Отец моих детей, и я его люблю, я его ненавижу». Рвут душу пополам — любовь, ненависть! Ей-богу, пора бы уж кому-то взяться за новый сюжет, или чтоб из-за кустов явился автор, что ли…

Явился Кэндиш. Принес вторую почту на серебряном подносе. Письма, счета и утренняя газета — газета, отменившая вчерашний день. Как рыба всплывает на поверхность за ломтиком печенья, так Бартоломью схватил газету. Джайлз вскрыл конверт — что-то явно деловое. Люси впилась в каракули старой приятельницы из Скарборо. У Айзы были одни счета.

Обычные шумы прохаживались по дому, Сэндс разводила огонь, Кэндиш разогревал котел. Айза просмотрела счета. Сидела в раковине гостиной, смотрела, как гаснет праздник. Цветы вспыхивали, перед тем как погаснуть. Она смотрела на эти вспышки.

Похрустывала газета. Подрагивала минутная стрелка. Мистеру Даладье удалось удержать франк. Девица резвилась с кавалеристами. Она кричала. Она его ударила… Ну и что?

Когда Айза снова взглянула на цветы, они погасли.

Бартоломью щелкнул выключателем настольной лампы. Озарился кружок читателей над белыми листами. Здесь, во впадине солнцем прожаренного поля, стрекоза, и муравей, и жук катили сквозь лоснистую стерню сухие катышки земли, объединив усилья. Здесь, в розовом уголке

солнцем прожаренного поля, Бартоломью, Джайлз и Люси отламывали, подчищали, поклевывали крошки. Айза их наблюдала. И упала газета.

— Закончил? — спросил Джайлз, забирая газету у отца.

Старик ее выпустил. Он нежился. Одна рука, лаская пса, сбирала кожу складками, напускала на ошейник.

Тикали часы. Дом поскрипывал, как будто он совсем уж хлипкий, совсем сухой. Руке Айзы вдруг стало холодно на подоконнике. Тени перечеркнули, отменили сад. Розы ушли на ночь, ушли спать.

Миссис Суизин, складывая письмо, шепнула Айзе:

— Я заглянула, детки спят так сладко под бумажными розами.

— Оставшимися с коронации, — бормотнул Бартоломью, почти сквозь сон.

— И не стоило беспокоиться насчет этих декораций, — прибавила Люси. — В этом году не было дождя.

— На этот год, в прошлом году, когда-то, никогда, — промурлыкала Айза.

— Куколка, балетница, воображала, сплетница, — эхом отозвался Бартоломью. Он говорил

во сне.

Люси сунула письмо в конверт. Пора, пора и почитать свои «Очерки истории». Но где же это место? Пролистнула, разглядывая картинки, — мамонты, мастодонты, доисторические птицы. А, вот страница, на которой она остановилась.

Тьма густела. Сквознячок прогуливался по гостиной. Миссис Суизин передернулась и поплотней закуталась в свою шаль с блестками. Так ушла в историю, что лень было попросить, чтоб затворили окна. «Англия, — она читала, — была тогда болотом. Дремучие леса покрывали землю. Наверху, на спутанных ветвях, пели птицы…»

В большом квадрате открытого окна теперь стояло одно сплошное небо. Линялое, холодное, пустое. Падали тени. Тени всползали по высокому лбу Бартоломью, по орлиному носу. Он стал опавшим, призрачным, и монументальным стало кресло. Как дергает собака кожей, так дергалось у него лицо. Потом он встал, встряхнулся, уставился в пустоту и удалился из гостиной. И тотчас стало слышно, как собачьи лапы мягко ступают за ним следом по ковру.

Люси перевернула страницу, быстро, виновато, как ребенок, которому сейчас объявят, что надо идти спать, а не дочитана глава.

«Доисторический человек, — она читала, — получеловек, полуобезьяна, мог вставать с четвереник и поднимать большие камни».

Сунула письмо из Скарборо между страниц, помечая конец главы, встала, улыбнулась и молча, на цыпочках вышла из гостиной.

Старики ушли наверх, спать. Джайлз скомкал газету, выключил свет. В первый раз за целый день они остались наедине, и они молчали. Наедине ненависть стала голой, и любовь. Прежде чем спать, они должны схватиться, после схватки они обнимут друг друга. В этих объятиях, может быть, родится другая жизнь. Но сперва они должны схватиться, как схватываются лисица с лисом, на поле ночи, в сердце тьмы.

Айза уронила шитье. Стали огромными большие кресла в чехлах. И Джайлз. И Айза тоже — против окна. В окне стояло одно сплошное небо, и оно погасло. Дом потерял свое прикрытье. Ночь была уже тогда, когда не пролагали дорог, не строили домов. На ту же ночь смотрел пещерный человек с какой-нибудь скалистой высоты.

Потом поднялся занавес. Они заговорили.